

ТО, ЧТО ЛЮБЛЮ

ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Для быстроты выживал стихи из интернета. Поправил наскоро, что мог. Интернет безбожно, чудовищно коверкает тексты. Например, в стихотворении Гумилева: «Я думал, я верил, и свет мне блеснул, наконец». То есть, когда перестал быть божьим, это значит – блеснул свет, в конце тоннеля? У Гумилева свет – «предстал». Далее: «Навсегда уступил меня року создатель». Такой слабый создатель! У Гумилева – «отпустил» року. Далее: «А тихая девушка...» Ну, причем здесь тихая? Смуглая. Далее: «Смотрит без мыслей и снов». Это просто идиотизм, у Гумилева «без молеб и слов». Вставляют собственные поэтические изыски, у Гудзенко вместо «будь проклят сорок первый год» какой-то дебил нарисовал «ракеты просят небосвод».

Однажды в компании некий пермский футбольный фанат объявил, что «Капитанскую дочку» написал Лермонтов. Я сообщил, что написал Пушкин. Не поверили. Его приятель, тоже фанат, куда-то убежал, потом вернулся: «Мы облажались! Татьяна зашла в интернет...» Потом тот же фанат оправдал себя: «Какая разница, кто написал. Главное, чтобы человек был хороший». Это уровень поколения.

Телевидение уничтожает искусство подобно боевикам ИГИЛ, взрывающим памятники архитектуры в Ираке, из советских шедевров кинематографа вырезают всё, что можно и что нельзя. Кто для сокращения времени, чтобы осталось больше для рекламы, кто из-за несоответствия официальной идеологии, кто ищет в шедеврах экстремизм. Фильмы, специально снятые в черно-белом варианте, раскрашивают, фильмы оцифровывают. После чего их становится невозможно смотреть. Из «Зеркала» после оцифровки исчезли брейгелевские краски, расцветенные «17 мгновений весны» - всё равно что из хроники сделать шоу.

При переводе в цифровой формат, как правило, теряются обертона, качественных записей почти нет, нынешнее поколение не приучено слушать музыку, оно Гайдну, Глюку, Баху предпочитает убогую Кейко Мацуи, Лине Мкртчян – Салтыкову, Стейнбеку, Фолкнеру, Драйзеру – Гарри Поттера. Ах, «Слезы океана», какая поэза... И ведь началось это с суррогата искусства у Цоя, Гребенщикова, Макаревича, с их примитивных текстов, с подделывания под поэзию.

Души нынешнего поколения глухи и слепы. Жертвы ЕГЭ и тестовой системы, обладатели купленных рефератов, курсовых, дипломов. «Серое, черное, в сером упорное», - писала Гиппиус. Поколение разговаривает не по-русски, оно в ответ кричит, что «ценит себя» и свое понимание мира, оно уверенно, что его примитив – это норма, и нет особой разницы между Пушкиным и Лермонтовым. Одного наглого школьника назвал дегенератом, тот хотел ответить, но не смог повторить.

Данный сборник – попытка сохранить. Всё, что вспомнил, что знаю наизусть. Пока в интернете окончательно не изуродовали.

Дважды досаждали генсеки. Первый раз – в 1978-м, на госэкзамене по научному коммунизму. Честно признался: на последний вопрос, что сказал Брежнев там-то и там-то, ответа не знаю. Да этот птичий язык и нельзя было понять! Хотели поставить тройку, но вступился преподаватель, Татаринов Рудольф Михалыч, сказал, что если Ихлову ставить три, то остальным – два. В 1984-м на экзамене по истории КПСС (это был вступительный в аспирантуру МГУ) бабка-историчка спросила, люблю ли я поэзию. Мякнул, мол, люблю. «И чем, по-Вашему, занята современная поэзия?» - спросила историчка. Более дикого вопроса не мог себе представить. И не был курсе, что в ночь перед экзаменом Черненко объявил, что нынешняя поэзия занята богоискательством. Опять хотели было тройку вклеить... Всё может быть, мне претит, если в тексте протаскивают боженьку, может, проскакивал какие-то стихи. Но в данном сборнике боженьки вы не найдете. Здесь нет текстов Тютчева. Ну, сами посудите: «Я встретил вас...» или «Люблю грозу в начале мая». Или: «Зима недаром злится...». Умом Россию не понять, «Есть в осени первоначальной» или «Чародейкою зимою очарован лес стоит». И т.д. Нас с детства воспитывали на стихах Тютчева. Аналогично «Я пришел к тебе с приветом...» Правда, ближе у Фета «Когда мои мечты за гранью прошлых дней найдут тебя опять за дымкою туманной, тогда я плачу, словно первый иудей на рубеже земли обетованной...» И, конечно, нет стихов Пушкина и Лермонтова, стихом много бы пришлось печатать, да и вряд ли их тексты решатся калечить.

Борис Ихлов, август 2018

Содержание:

Тарковский.....	2
Багрицкий.....	9
Пастернак.....	17
Ахматова.....	23
Цветаева.....	29
Мандельштам.....	32
Стихи зарубежных поэтов (Лоуэлл, Вийон, Верлен, Рембо, Неруда, Лорка, Элиот, Василь Симоненко, Брехт, Бернс, Тагор, Целан, Шекспир, Киплинг).....	40
Стихи русских и советских поэтов (Нарбут, А. Толстой, Гудзенко, Анненский, Гумилев, Бунин, Блок, Белый, Бальмонт, Маяковский, Иван Жданов, Рубцов, Анненский, Сельвинский, Антокольский, Мориц, Шпаликов, Бродский, Кушнер, Слуцкий, Шкляревский, Заболоцкий).....	51
Стихи пермских поэтов (Д. Долматов, В. Абанькин, В. Кальпиди).....	73
Послесловие составителя.....	79

Тарковский

Мы шли, босые, злые,
И, как под снег ракита,
Ложилась мать Россия
Под конские копыта.

Стояли мы у стенки,
Где холодом тянуло,
Выкатывая zenки,
Смотрели прямо в дуло.

Кто знает шучье слово
Чтоб из земли солдата
Не поднимали снова
Убитого когда-то.

С утра я тебя дожидался вчера,
Они догадались, что ты не придёшь.
Ты помнишь, какая погода была?
Как в праздник, и я выходил без пальто.
Сегодня пришла, и устроили нам
Какой-то особенно пасмурный день,
И дождь, и особенно поздний час,
И капли бегут по холодным ветвям.
Ни словом унять, ни платком утеретьь

Вы, жившие на свете до меня,
Моя броня и кровная родня
От Алигьери до Скиапарелли,
Спасибо вам, вы хорошо горели.

А разве я не хорошо горю
И разве равнодушием корю
Вас, для кого я столько жил на свете,
Трава и звезды, бабочки и дети?

Мне шапку бы и пред тобою снять,
Мой город - весь как нотная тетрадь,
Еще не тронутая вдохновеньем,
Пока июль по каменным ступеням
Литаврами не катится к реке,
Пока перо не прикипит к руке...

Первые свидания

Свиданий наших каждое мгновенье,
Мы праздновали, как богоявление,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела

Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.

Когда настала ночь, была мне милость
Дарована, алтарные врата
Отворены, и в темноте светилась
И медленно клонилась нагота,
И, просыпаясь: "Будь благословенна!" -
Я говорил и знал, что дерзновенно
Мое благословенье: ты спала,
И тронуть веки синевой вселенной
К тебе сирень тянулась со стола,
И синевую тронутые веки
Спокойны были, и рука тепла.

А в хрустале пульсировали реки,
Дымились горы, брезжили моря,
И ты держала сферу на ладони
Хрустальную, и ты спала на троне,
И – боже правый! – ты была моя.

Ты пробудилась и преобразила
Вседневный человеческий словарь,
И речь по горло полнозвучной силой
Наполнилась, и слово *ты* раскрыло
Свой новый смысл и означало: *царь*.
На свете все преобразилось, даже
Простые вещи – таз, кувшин, – когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твердая вода.

Нас повело неведомо куда,
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами...
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

(Это стихотворение, как и некоторые другие, помещенные в этом сборнике, читает автор в фильме «Зеркало». После фильма вышла в свет грампластинка, где Тарковский читает свои стихи, и не только из фильма.)

Сократ

Я не хочу ни власти над людьми,
Ни почестей, ни войн победоносных.
Пусть я застыну, как смола на соснах,
Но я не царь, я из другой семьи.
Дано и вам, мою цикуту пьющим,
Пригубить немоту и глухоту.
Мне рубище раба не по хребту,
Я не один, но мы еще в грядущем.
Я плоть от вашей плоти, высота,
Всех гор земных и глубина морская.

Как раковину мир переполняя,
Шумит по-олимпийски пустота.

Жизнь, жизнь

Предчувствиям не верю и примет
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда
Я не бегу. На свете смерти нет.
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком.

Живите в доме – и не рухнет дом.
Я выберу любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.
Вот почему со мною ваши дети
И жены ваши за одним столом, -
А стол один и прадеду и внуку:
Грядущее свершается сейчас,
И если я приподымаю руку,
Все пять лучей останутся у вас.
Я каждый день минувшего, как крепью,
Ключицами своими подпирал,
Измерил время землемерной цепью
И сквозь него прошел, как сквозь Урал.

Я век себе по росту подбирал.
Мы шли на юг, держали пыль над степью;
Бурьян чадил; кузнечик баловал,
Подковы трогал усом, и пророчил,
И гибелью грозил мне, как монах.
Судьбу свою к седлу я приторочил;
Я и сейчас, в грядущих временах,
Как мальчик, привстаю на стремянах.
Мне моего бессмертия довольно,
Чтоб кровь моя из века в век текла.
За верный угол ровного тепла
Я жизнью заплатил бы своевольно,
Когда б ее летучая игла
Меня, как нить, по свету не вела.

Елена Молоховец

*...после чего отжимки можно
отдать на кухню людям.*

Е. Молоховец. Подарок молодым хозяйкам. 1911

Где ты, писательница малосольная,
Молоховец, холуйка малахольная,
Блаженство десятипудовых туш
Владельцев десяти тысяч душ?

В каком раю? чистилище? мучилище?
Костедробилище? А где твои лещи
Со спаржей в зеве? раки бордолез?
Омары Крез? имперский майонез?
Кому ты с институтскими ужимками
Советуешь стерляжьими отжимками
Парадный опрозрачивать бульон,
Чтоб золотым он стал, как миллион,
Отжимки слугам скармливать, чтоб ведали,
Чем нынче наниматели обедали?
Вот ты сидишь под ледяной скалой,
Перед тобою ледяной налой,
Ты вслух читаешь свой завет поваренный,
Тобой хозяйкам молодым подаренный,
И червь насытый у тебя в руке,
В другой – твой череп мямлит в дуршлагае.
Ночная тень, холодная, голодная,
Полубайстрючка, полублагородная...

Петровские казни

Передо мною плаха
На площади встает,
Червонная рубаха
Забиться не дает.
По лугу волю славить
С косою идет косарь.
Идет Москву кровавить
Московский государь.
Стрельцы, гасите свечи!
Вам, косарям, ворами,
Ломать крутые плечи
Идет последний срам.
У, буркалы Петровы,
Навыкате белки!
Холстинные обновы.
Сынки мои, сынки!

Где вьюгу на латынь
Переводил Овидий,
Я пил степную синь
И суп варил из мидий.
И мне огнем беды
Дуду насквозь продуло,
И потому лады
Поют, как Мариула,
И потому семья
У нас не без уroda,
И хороша моя
Дунайская свобода.
Где грел он в холода
Лепешку на ладони,
Там южная звезда
Стоит на небосклоне.

Сны

Садится ночь на подоконник,
Очки волшебные надев,
И длинный вавилонский сонник,
Как жрец, читает нараспев.
Уходят вверх ее ступени,
Но нет перил над пустотой,
Где судят тени, как на сцене,
Иноязычный разум твой.

Ни смысла, ни числа, ни меры.
А судьи кто? И в чем твой грех?
Мы вышли из одной пещеры,
И клинопись одна на всех.
Явь от потопа до Эвклида
Мы досмотреть обречены.
Отдай – что взял; что видел – выдай!
Тебя зовут твои сыны.

И ты на чьем-нибудь пороге
Найдешь когда-нибудь приют,
Пока быки бредут, как боги,
Боками трутся на дороге
И жвачку времени жуют.

(До Эвклида – имеется в виду плоская геометрия Эвклида – в отличие от римановой, т.е. тепловая смерть Вселенной, что всего лишь образ.)

Где черный ветер, как налетчик,
Поет на языке блатном,
Проходит путевой обходчик,
Во всей степи один с огнем.

Над полосой отчужденья
Фонарь качается в руке,
Как два крыла из сновиденья
В середине ночи на реке.

И в желтом колыбельном свете
У мирозданья на краю
Я по единственной примете
Родную землю узнаю.

Есть в рельсах железнодорожных
Пророческий и смутный зов
Благословенных, невозможных,
Не спящих ночью городов.

И осторожно, как художник,
Следит проезжий за огнем,
Покуда железнодорожник
Не пропадет в краю степном.

(Почувствуйте смачность слога, его вкус, гипнотическую песенность.)

Снежная ночь в Вене

Ты безумна, Изора, безумна и зла,
Ты кому подарила свой перстень с отравой?
И за дверью трактирной тихонько ждала:
Моцарт, пей, не тужи, смерть в союзе со славой!

Ах, Изора, глаза у тебя хороши
И черней твоей черной и горькой души.
Смерть позорна, как страсть. Подожди, уже скоро.
Ничего, он сейчас задохнется, Изора.

Так лети же, снегов не касаясь стопой:
Есть кому еще уши залить глухотой
И глаза слепотой. Есть еще голодуха,
Госпитальный фонарь и сиделка-старуха.

Зуммер

Я бессмертен, пока я не умер,
И для тех, кто еще не рожден,
Разрываю пространство, как зуммер
Телефона грядущих времен.

Так последний связист под обстрелом,
От большого пути в стороне,
Прикрывает расстрелянным телом
Ранец свой на солдатском ремне.

На снегу в затвердевшей шинели,
Кулаки к подбородку прижав,
Он лежит, как дитя в колыбели,
Правотой несравненною прав.

Где когда-то с боями прошли мы
От большого пути в стороне,
Разбегается неповторимый
Терпкий звук на широкой волне.

Это старая честь боевая
Говорит:
– Я земля. Я земля, -
Под землей провода расправляя
И корнями овсов шевеля.

...

И снится мне другая
Душа, в другой одежде:
Горит, перебегая,
От робости к надежде,
Огнем, как спирт, без тени
Уходит по земле,

На память гроздь сирени
Оставив на столе.
Дитя, беги, не сетуй
Над Эвридикой бедной
И палочкой по свету
Гони свой обруч медный,
Пока хоть в четверть слуха
В ответ на каждый шаг
И весело и сухо
Земля шумит в ушах.

Ночь под первое июня

Пока еще последние колена
Последних соловьев не отгремели,
И смутно брезжит у твоей постели
Боярышника розовая пена,

Пока ложится железнодорожный
Мост, как самоубийца, под колеса,
И жизнь моя над черной рябью плеса
Летит стремглав дорогой непроложной,

Спи, как на сцене, на своей поляне,
Спи, – эта ночь твоей любви короче, -
Спи в сказке для детей, в ячейке ночи,
Без имени в лесу воспоминаний.

Так вот когда я стал самим собою,
И что ни день – мне новый день дороже,
Но что ни ночь – пристрастнее и строже
Мой суд нетерпеливый над судьбою...

Был домик в три оконца
В такой окрашен цвет,
Что даже в спектре солнца
Такого цвета нет.
Он был еще спектральной,
Зеленый до того,
Что я в окошко спальни
Молился на него.

Я верил, что из рая,
Как самый лучший сон,
Оттенка не меняя,
Переместился он.
Поньше домик чудный,
Чудесный и чудной,
Зеленый, изумрудный,
Стоит передо мной.

И ставни затворяли,
Но иногда и днем
На чем-то в нем играли
И что-то пели в нем,

А ночью на крылечке
Прощались, и впотьмах
Затепливали свечки
В бумажных фонарях.

Багрицкий

Арбуз

Свежак надрывается. Прет на рожон
Азовского моря корыто.
Арбузами парусник наш нагружен,
Арбузами днище покрыто.

Не пить первача в дорассветную стыдь,
На скучном зевать карауле,
Три дня и три ночи придется проплыть -
И мы паруса развернули.

В густой бородач ударяет бурун,
Чтоб брызгами вдрызг разлететься;
Я выберу звонкий, как бубен, кавун -
И ножиком вырежу сердце...

Пустынное солнце садится в рассол,
И выпихнут месяц волнами...
Свежак задувает!
Наотмашь!
Пошел!
Дубок, шевели парусами!
Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...
В два пальца, по-боцмански, ветер свистит,
И тучи сколочены плотно.
И ерзает руль, и обшивка трещит,
И забраны в рифы полотна.

Сквозь волны - навывлет!
Сквозь дождь - наугад!
В свистящем гонимые мыле,
Мы рыщем на ощупь...
Навзрыд и не в лад
Храпят полотняные крылья.

Мы втянуты в дикую карусель.
И море топчет как рынок,
На мель нас кидает,
Нас гонит на мель
Последняя наша путина!

Козлами кудлатыми море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...
Я песни последней еще не сложил,
А смертную чую прохладу...
Я в карты играл, я бродягою жил,
И море приносит награду,-
Мне жизни веселой теперь не сберечь -
И руль оторвало, и в кузове течь!..

Пустынное солнце над морем встает,
Чтоб воздуху таять и греться;
Не видно дубка, и по волнам плывет
Кавун с нарисованным сердцем...

В густой бородач ударяет бурун,
Скумбрийная стая играет,
Низовый на зыби качает кавун -
И к берегу он подплывает...
Конец путешествию здесь он найдет,
Окончены ветер и качка,-
Кавун с нарисованным сердцем берет
Любимая мною казачка...

И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..

Происхождение

Я не запомнил – на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.

Я к ней тянулся... Но, сквозь пальцы рея,
Она рванулась – краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.

И всё навыворот.
Всё как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.

Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали,
Врата, которые не распахнуть.

Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец –
Все бормотало мне:
«Подлец! Подлец!»

И только ночью, только на подушке
Мой мир не рассекала борода;
И медленно, как медные полушки,
Из крана в кухне падала вода.

Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвие...
– Ну как, скажи, поверит в мир текучий

Еврейское неверие мое?

Меня учили: крыша – это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол,
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.

Но древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытие.
...Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое?

Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.

Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.

Дверь! Настежь дверь!
Качается снаружи
Обглоданная звездами листва,
Дымится месяц посредине лужи,
Грач вопиет, не помнящий родства.

И вся любовь, бегущая навстречу,
И все кликушество моих отцов,
И все светила, строящие вечер,
И все деревья, рвущие лицо, –

Все это встало поперек дороги.
Больными бронхами свистя в груди:
– Отверженный! Возьми свой скарб убогий,
Проклятье и презренье!
Уходи! –
Я покидаю старую кровать:
– Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!

Контрабандисты

По рыбам, по звездам
 Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
 Везут контрабанду.
На правом борту,
 Что над пропастью вырос:
Янаки, Ставраки и
 Папа Сатырос.
А ветер как гикнет,

Как мимо просвищет,
Как двинет барашком
Под звонкое днище,
Чтоб гвозди звенели,
Чтоб мачта гудела:
"Доброе дело! Хорошее дело!"
Чтоб звезды обрызгали
Грудю наживы:
Коньяк, чулки
И презервативы...

Ай, греческий парус!
Ай, Черное море!
Ай, Черное море!..
Вор на воре!

.....

Двенадцатый час -
Осторожное время.
Три пограничника,
Ветер и темень.
Три пограничника,
Шестеро глаз -
Шестеро глаз
Да моторный баркас...
Три пограничника!
Вор на дозоре!
Бросьте баркас
В басурманское море,
Чтобы вода
Под кормой загудела:
"Доброе дело!
Хорошее дело!"
Чтобы по трубам,
В ребра и винт,
Виттовой пляской
Двинул бензин.

Ай, звездная полночь!
Ай, Черное море!
Ай, Черное море!..
Вор на воре!

.....

Вот так бы и мне
В налетающей тьме
Усы раздувать,
Развалясь на корме,
Да видеть звезду
Над бугшпритом склоненным,
Да голос ломать
Черноморским жаргоном,
Да слушать сквозь ветер,
Холодный и горький,
Мотора дозорного
Скороговорки!
Иль правильной, может,

Сжимая наган,
За вором следить,
Уходящим в туман...
Да ветер почуять,
Скользящий по жилам,
Вослед парусам,
Что летят по светилам...
И вдруг неожиданно
Встретить во тьме
Усатого грека
На черной корме...

Так бей же по жилам,
Кидайся в края,
Бездомная молодость,
Ярость моя!
Чтоб звездами сыпалась
Кровь человечья,
Чтоб выстрелом рваться
Вселенной навстречу,
Чтоб волн запевал
Оголтелый народ,
Чтоб злобная песня
Коверкала рот,-
И петь, задыхаясь,
На страшном просторе:

"Ай, Черное море,
Хорошее море..!"

Смерть пионерки

*Грозою освеженный,
Подрагивает лист.
Ах, пеночки зеленой
Двухоборотный свист!*

Валя, Валентина,
Что с тобой теперь?
Белая палата,
Крашенная дверь.
Тоньше паутины
Из-под кожи щек
Тлеет скарлатины
Смертный огонек.

Говорить не можешь -
Губы горячи.
Над тобой колдуют
Умные врачи.
Гладят бедный ежик
Стриженных волос.
Валя, Валентина,
Что с тобой стряслось?
Воздух воспаленный,
Черная трава.
Почему от зноя

Ноет голова?
Почему теснится
В подъязычье стон?
Почему ресницы
Обдувает сон?

Двери открываются.
(Спать. Спать. Спать.)
Над тобой склоняется
Плачущая мать:

Валенька, Валюша!
Тягостно в избе.
Я крестильный крестик
Принесла тебе.
Все хозяйство брошено,
Не поправишь враз,
Грязь не по-хорошему
В горницах у нас.
Куры не закрыты,
Свиньи без корыта;
И мычит корова
С голоду сердито.
Не противься ж, Валенька,
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест.

На щеке помятой
Длинная слеза...
А в больничных окнах
Двигается гроза.

Открывает Валя
Смутные глаза.

От морей ревучих
Пасмурной страны
Наплывают тучи,
Ливнями полны.

Над больничным садом,
Вытянувшись в ряд,
За густым отрядом
Двигается отряд.
Молнии, как галстуки,
По ветру летят.

В дождевом сиянье
Облачных слоев
Словно очертанье
Тысячи голов.

Рухнула плотина -
И выходят в бой
Блузы из сатина
В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы
Подымают вой.
Над больничным садом,
Над водой озер,
Двигутся отряды
На вечерний сбор.

Заслоняют свет они
(Даль черным-черна),
Пионеры Кунцева,
Пионеры Сетуни,
Пионеры фабрики Ногина.

А внизу, склоненная
Изнывает мать:
Детские ладони
Ей не целовать.
Духотой спаленных
Губ не освежить -
Валентине больше
Не придется жить.

- Я ль не собирала
Для тебя добро?
Шелковые платя,
Мех да серебро,
Я ли не копила,
Ночи не спала,
Все коров доила,
Птицу стерегла,-
Чтоб было приданое,
Крепкое, недраное,
Чтоб фата к лицу -
Как пойдешь к венцу!
Не противься ж, Валенька!
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест.

Пусть звучат постылые,
Скудные слова -
Не погибла молодость,
Молодость жива!

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.

Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.

Возникай содружество
Ворона с бойцом -
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом.

Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

Чтобы в этом крохотном
Теле - навсегда
Пела наша молодость,
Как весной вода.

Чтобы в этом крохотном
Теле - навсегда
Пела наша молодость,
Как весной вода.

Валя, Валентина,
Видишь - на юру
Базовое знамя
Вьется по шнуру.

Красное полотнище
Вьется над бугром.
"Валя, будь готова!" -
Восклицает гром.

В прозелень лужайки
Капли как польют!
Валя в синей майке
Отдает салют.

Тихо подымается,
Призрачно-легка,
Над больничной койкой
Детская рука.

"Я всегда готова!" -
Слышится окрест.
На плетеный коврик
Упадает крест.
И потом бессильная
Валится рука
В пухлые подушки,
В мякоть тюфяка.

А в больничных окнах
Синее тепло,
От большого солнца
В комнате светло.

И, припав к постели.
Изнывает мать.

За оградой пеночкам
Нынче благодать.

Вот и все!

Но песня
Не согласна ждать.

Возникает песня
В болтовне ребят.
Подымает песню
На голос отряд.

И выходит песня
С топотом шагов
В мир, открытый настежь
Бешенству ветров.

(К сожалению, ныне Багрицкого не изучают в школе, А ведь это великий поэт.)

Пастернак

Разрыв

О, ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так — я не смею, но так — зуб за зуб!
О скорбь, зараженная ложью вначале,
О горе, о горе в проказе!

О ангел залгавшийся,— нет, не смертельно
Страданье, что сердце, что сердце в экземе!
Зачем же ты душу болезнью натальной
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и, как время,
Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!
...

Рожаль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: - милый! - Нет,- вскричу я,- нет!
При музыке?! - Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! - ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно - что жилы отворить.

Август

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою

От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами
Сосуществовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом:

"Прощай, лазурь Преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины.
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я - поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство".

Сон

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Но время шло, и старилось, и глохло,
И, поволокой рамы серебра,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.

Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.

Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Грядущим по небу берез.

Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить - не поле перейти.

Сестра моя - жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в пути,
Оно грандиозней святого писанья,
Хотя его сызнава всё перечти.

Что только закат озарит хуторянок,
Толпою теснящихся на полотне,
Я слышу, что это не мой полустанок,
И солнце, садясь, соболезнает мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

Мне в сумерки ты все — пансионеркою,
Все — школьницей. Зима. Закат лесничим
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося,
И вот — айда! Аукаемся, кличем.
А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
Она — твой шаг, твой брак, твое замужество,
И тяжелей дознаний трибунала.
Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаяй горлинок
Летели хлопья грудью против гула.
Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо
С лотков на снег, их до панелей гнуло!
Перебегала ты! Ведь он подсовывал
Ковром под нас салазки и кристаллы!
Ведь жизнь, как кровь, до облака пунцового

Пожаром вьюги озарясь, хлестала!
Движенье помнишь? Помнишь время? Лавочниц?
Палатки? Давку? За разменом денег
Холодных, звонких,- помнишь, помнишь давешних
Колоколов предпраздничных гуденье?
Увы, любовь! Да, это надо высказать!
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.
Мне в сумерки ты будто все с экзамена,
Все — с выпуска. Чижи, мигрень, учебник.
Но по ночам! Как просят пить, как пламенны
Глаза капсюль и пузырьков лечебных!

Все утро голубь ворковал
У вас в окне.
На желобах,
Как рукава сырых рубах,
Темнели ветки.
Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Баюча.
Я умолял их перестать.
Казалось,- перестанут.
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.
Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз
И песни колотой куски,
Жар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лед,
На подзеркальник льет.
Но высь за говором под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошенной тишине,
Намокшей, как шинель,
Как пыльный отзвук молотьбы,
Как громкий спор в кустах.
Я их просил -
Не мучьте!
Не спится.
Но - моросило, и топчась
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру,
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
“Испить,
Сестрица”.

(Какой-то нелепый человек в интернете переправил «темнели ветки» на «мертвели ветки».)

Метель

1

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега,-

Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожеи
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).

Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник - осиновый лист, он безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!
Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчком с мостовой...
- Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... о город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
- Не тот это город, и полночь не та.

2

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
Заваливай окна и рамы заклеивай,
Там детство рождественской елью топорщится.
Бушует бульваров безлиственных заговор.
Они поклялись извести человечество.
На сборное место, город! За город!
И вьюга дымится, как факел над нечистью.
Пушинки непрошено велятся на руки.
Мне страшно в безлюдья пороши разнузданной.
Снежинки снуют, как ручные фонарики.
Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!

Дыра полыньи, и мерещится в музыке
Пурги:- Колиньи, мы узнали твой адрес!-
Секиры и крики: - Вы узнаны, узники

Уюта!- и по двери мелом - крест-накрест.

Что лагерем стали, что подняты на ноги
Подонки творенья, метели - сполагоря.
Под праздник отправятся к праотцам правнуки.
Ночь Варфоломеева. За город, за город!

(Завораживающий, отчаянный стих! Как блоковские «Двенадцать»)

Ахматова (Горенко)

Разрыв

1

Не недели, не месяцы — годы
Расставались. И вот наконец
Холодок настоящей свободы
И седой над висками венец.

Больше нет ни измен, ни предательств,
И до света не слушаешь ты,
Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты.

1940

2

И, как всегда бывает в дни разрыва,
К нам постучался призрак первых дней,
И ворвалась серебряная ива
Седым великолепием ветвей.

Нам, иступленным, горьким и надменным,
Не смеющим глаза поднять с земли,
Запела птица голосом блаженным
О том, как мы друг друга берегли.

23 сентября 1944

3

Последний тост

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем,
И за тебя я пью, —
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что Бог не спас.

Реквием

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, -
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Вместо предисловия

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то "опознал" меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957

Посвящение

Перед этим горем гнутся горы,
 Не течет великая река,
 Но крепки тюремные затворы,
 А за ними "каторжные норы"
 И смертельная тоска.
 Для кого-то веет ветер свежий,
 Для кого-то нежится закат -
 Мы не знаем, мы повсюду те же,
 Слышим лишь ключей постылый скрежет
 Да шаги тяжелые солдат.
 Подымались как к обедне ранней,
 По столице одичалой шли,
 Там встречались, мертвых бездыханней,
 Солнце ниже и Нева туманней,
 А надежда все поет вдали.
 Приговор... И сразу слезы хлынут,
 Ото всех уже отделена,
 Словно с болью жизнь из сердца вынут,
 Словно грубо навзничь опрокинут,
 Но идет... Шатается... Одна...
 Где теперь невольные подруги
 Двух моих осатанелых лет?
 Что им чудится в сибирской вьюге,
 Что мерещится им в лунном круге?
 Им я шлю прощальный свой привет.

Март, 1940

Вступление

Это было, когда улыбался
 Только мертвый, спокойствию рад.
 И ненужным привеском качался
 Возле тюрем своих Ленинград.
 И когда, обезумев от муки,
 Шли уже осужденных полки,
 И короткую песню разлуки
 Паровозные пели гудки,
 Звезды смерти стояли над нами,
 И безвинная корчилась Русь
 Под кровавыми сапогами
 И под шинами черных марушь.

1

Уводили тебя на рассвете,

За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки.
Смертный пот на челе не забыть.
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

1935

2
Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.

Входит в шапке набекрень,
Видит желтый месяц тень.

Эта женщина больна,
Эта женщина одна,

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

3
Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...
Ночь.

4
Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей -
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизнью кончается...

5
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пыльные цветы,
И звон кадилный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.

6

Легкие летят недели,
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели,
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоём кресте высоком
И о смерти говорят.

1939

7

Приговор

И упало каменное слово
На мою ещё живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Лето, 1939

8

К смерти

Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой, -
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.

19 августа 1939 Фонтанный Дом Ленинград

9

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,

Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрощай его
И как ни докучай мольбою):

Ни сына страшные глаза -
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук -
Слова последних утешений.

4 мая 1940 Фонтанный Дом

10
Распятие

Не рыдай Мене, Мати,
во гробе сушу.

I
Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: "Почто Меня оставил!"
А матери: "О, не рыдай Мене..."

II
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

1940 -1943

Эпилог

I
Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.

II
Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:

И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,

И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: "Сюда прихожу, как домой".

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный народ,

Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,
Но только с условием — не ставить его

Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забуть громохание черных марушь,

Забуть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Март, 1940

Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.

(Не поклонник любовной высокопарной, дворянско-книжной, что ли, лирики Ахматовой, но «Разрыв» - вершина поэзии.)

Цветаева

Леты слепотекущий всхлип.

Долг твой тебе отпущен: слит
С Летою, - еле-еле жив
В лепете сребротекущих ив.

Ивовый сребролетейский плеск
Плачущий... В слепотекущий склеп
Памятей - перетомилась - спрячь
В ивовый сребролетейский плач.

На плечи - сребро-седым плащом
Старческим, сребро-сухим плющом
На плечи - перетомилась - ляг,
Ладанный слеполетейский мрак

Маковый...

- ибо красный цвет
Старится, ибо пурпур - сед
В памяти, ибо выпив всю -
Сухостями теку.

Тусклостями: уцербленных жил
Скупостями, молодых сивилл
Слепостями, головных истом
Седостями: свинцом.

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной -
Распущенной - и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочтите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью - всуе...

Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня - не зная сами! -
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами,-
За то, что вы больны - увы! - не мной,
За то, что я больна - увы! - не вами!

Не думаю, не жалею, не спорю.
Не сплю.
Не рвусь
ни к солнцу, ни к луне, ни к морю,
Ни к кораблю.

Не чувствую, как в этих стенах жарко,
Как зелено в саду.
Давно желанного ижданного подарка
Не жду.

Не радует ни утро, ни трамвая
Звенящий бег.
Живу, не видя дня, позабывая
Число и век.

На, кажется, надрезанном канате
Я - маленький плясун.
Я - тень от чьей-то тени. Я - лунатик
Двух темных лун.

За девками доглядывать, не скис-
-ли в жбане квас, оладьи не остыли ль,
Да перстни пересчитывать, анис
Ссыпая в узкогорлые бутылки,
Кудельную расправить бабке нить,
Да ладаном курить по дому росным,
Да под руку торжественно проплыть
Соборной площадью, гремя шелками, с крёстным.
Кормилица с крикливым петухом
В переднике - как ночь ее повойник!-
Докладывает древним шепотком,
Что молодой - в часовенке - покойник.
И ладанное облако углы
Унылой обволакивает ризой.
И яблони - что ангелы - белы,
И голуби на них - что ладан - сизы.
И странница, прихлебывая квас
Из ковшика, на краешке лежанки
О Разине досказывает сказ
И о его прекрасной персиянке.

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.

Мне и доньне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

У меня в Москве купола горят,
У меня в Москве колокола звонят,
И гробницы в ряд у меня стоят,
В них царицы спят и цари.

И проходишь ты над своей Невой
О ту пору как над рекой Москвой
Я стою с опущенной головой
И слипаются фонари.

Всей бессонницей я тебя люблю,
Всей бессонницей я тебе внемлю,
О ту пору как по всему Кремлю
Просыпаются звонари.

Но твоя рука да с моей рукой,
Но твоя река да с моей рекой
Не сольются, радость моя, доколь
Не догонит заря зари.

Хочу у зеркала, где муть
И сон туманящий,
Я выпытать — куда Вам путь
И где пристанище.

Я вижу: мачта корабля,
И Вы — на палубе...
Вы — в дыме поезда... Поля
В вечерней жалобе...

Вечерние поля в росе,
Над ними — вороны...
— Благословляю Вас на все
Четыре стороны!

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —

Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне все равно, каких среди
Лиц оцетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тцусь!),
Где унижаться — мне едино.
Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен...)
Двадцатого столетья — он,
А я — до всякого столетья!

Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все — равны, мне всё — равно,
И, может быть, всего равнее —

Роднее бывшее — всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло:
Душа, родившаяся — где-то.

Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей — поперек!
Родимого пятна не сыщет!
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина...

Мандельштам

Это все о луне
Только небылица, —
В этот вздор о луне
Верить не годится.
Это все о луне
Только небылица.

На луне не растёт
Ни одной былинки;
На луне весь народ

Делает корзинки —
Из соломы плетет
Легкие корзинки.

На луне полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома —
Просто голубятни;
Голубые дома —
Чудо-голубятни.

На луне нет дорог
И стоят скамейки,
Поливают песок
Из высокой лейки.
Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки.

У меня на луне
Голубые рыбы,
Но они на луне
Плавать не могли бы, —
Нет воды на луне
И летают рыбы!

У меня на луне
Вафли ежедневно,
Приезжайте ко мне,
Милая царевна!
Хлеба нет на луне, —
Вафли ежедневно.

На луне полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома —
Просто голубятни;
Голубые дома —
Чудо-голубятни.

Убежим на часок
От земли-злодейки!
На луне нет дорог
И везде скамейки,
Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки.

Захватите с собой
Молока котенку,
Земляники лесной,
Зонтик и гребенку...
На луне голубой
Я сварю вам жженку.

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди, —
Ангел мой.

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.
Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне — соленой пеной
По губам.
По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.
Ой ли, так ли, дуй ли вей ли —
Все равно;
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.
Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди, —
Ангел мой.

Концерт на вокзале

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но видит бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заморожен.
И в звучный пир, в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный хор в смятении и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах...

И мнится мне: весь в грохоте и пене,
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Горячий пар зрачки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит!

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью, — что может быть печальной,-
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей!

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина!
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не соломинка — Лигейя, умиранье, —
Я научился вам, блаженные слова.

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладью когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи,-
На головах царей божественная пена,-
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер - всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Промчались дни мои, как бы оленей
Косящий бег, поймав немного блага
На взмах ресницы. Пронеслась ватага
Часов добра и зла, как пена в пене.

О семицветный мир лживых явлений!
Печаль жирна и умиранье наго!
А еще тянет та, к которой тяга,
Чьи струны сухожилий тлеют в тлене.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.
И я догадываюсь, брови хмуря,
Как хороша? К какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?

Промчались дни мои — как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,

Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.

По милости надменных обольщений.
Ночует сердце в склепе скромной ночи,
К земле бескостной жметя. Средоточий
Не узнает родимых, и сплетений.

Слепорожденных ставит на колени
Злая краса. Кипит надежды брага.
А сердце где? Его любовь и тяга
Уже земля и лишена сплетений.

Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа — серое пятно.
Мне, в опьянении легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой.

Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
И бездыханная, как полотно,
Душа висит над бездною проклятой.

Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой;
И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино, —
Люблю следить за чайкою крылатой!

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка.
Гляжу - изба: вошел в сенцы,
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка.

У изголовья, вновь и вновь,
Цыганка вскидывает бровь,
И разговор ее был жалок.
Она сидела до зари
И говорила:- Подари.
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок...

Того, что было, не вернешь,
Дубовый стол, в солонке нож,
И вместо хлеба - ёж брюхатый;
Хотели петь - и не смогли,
Хотели встать - дугой пошли
Через окно на двор горбатый.

И вот проходит полчаса,
И гарнцы черного овса
Жуют, похрустывая, кони;
Скрипят ворота на заре,

И запрягают на дворе.
Теплеют медленно ладони.

Холщовый сумрак поредел.
С водою разведенный мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно
И золотушный грач мелькает.

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Так вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье,—
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи —
Как нацелясь на смерть городки зашибают в саду,—
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесу топорище найду.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина.

(Это стихотворение не было опубликовано ни в СССР, ни за границей. Тем не менее, за него Осип Эмильевич был арестован и погиб в концлагере.)

Ленинград

Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,
До прожилок, до детских припухлых желёз.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

(Если кто знает – как извратила это стихотворение долларовая миллионерша Алла Пугачева: «У меня еще есть адреса, по которым найду голоса».)

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых кровей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его, —
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна — вещество...

До чего эти звезды изветливы —
Все им нужно глядеть — для чего?
В осужденье судьбы и свидетеля
В океан без окна — вещество...

Помнит дождь — неприветливый сеятель —
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей,
За тобой, от тебя целокупное —
Я губами несусь в темноте, —

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил —
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил...

Миллионы убитых задешево
Притоптали тропу в пустоте —
Доброй ночи — всего им хорошего
От лица земляных крепостей...

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей —
И своими босыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей.

Сквозь эфир, десятично означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и молью полей.

И за полем полей — поле новое
Треугольным летит журавлем —
Весть летит светопыльной обновой —
И от битвы давнишней светло.

Весть летит светопыльной обновой:
Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не битва народов, я новое,
От меня будет свету светло.

Для того ль должен череп развиваться
Во весь лоб — от виска до виска, —
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска, —
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится — сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна отчизне —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец.

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьём Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.

И дружит с человеком калека:
Им обоим найдется работа.
И стучит по околицам века

Костылей деревянных семейка —
Эй, товарищество — шар земной!

Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Как бы обмороком затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Эта слава другим не в пример.

И сознание свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно,
Чуть-чуть красные, мчатся в свой дом?

Слышишь, мачеха звездного табора —
Ночь, — что будет сейчас и потом?
Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры

И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами —
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые убийства жиры.

Наливаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
Я рожден в девяносто четвертом...
Я рожден в девяносто втором...

И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом —
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января — в девяносто одном
Ненадежном году — в то столетье,
От которого темно и днем.

Но окончилась та перекличка
И пропала, как весть без вестей,
И по выбору совести личной
По указу великих смертей.
Я — дичок испугавшийся света,
Становлюсь рядовым той страны,
У которой попросят совета
Все кто жить и воскреснуть должны.

И союза ее гражданином
Становлюсь на призыв и учет,

И вселенной ее семьянином
Всяк живущий меня назовет...

Будут люди холодные, хилые
Убивать, голодать, холодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.
Научи меня ласточка хилая
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.

(В 1986 году на журфаке МГУ цикл лекций о Мандельштаме читала Галина Белая, Увы, это гениальное стихотворение она обошла вниманием. Многие стихи Мандельштама положил на музыку, увы, записей не сохранилось.)

СТИХИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ

Роберт Лоуэлл. Перевод Вознесенского

Мой тезка, сапожок, Калигула,
давным-давно, еще в каникулы,
твоя судьба меня окликнула,
и впилась в школьные миндалины
рука с мерцающей медали,
где бедный профиль злобно морщится,
как доньшко моих возможностей!

Великолепнейший Калигула!
Уродец, взвитый над квадригой,
чье зло — наивная религия.
Мой дурачок, болезненное детство
просвечивает сквозь злодейство.
Как нервный узел оголимый —
принц боли, узник, скот, Калигула.

Детсад Истории. Ты пленник
еще наивных преступлений,
кумир, посадка соколиная,
кликнуша, хулиган, Калигула!

Вождь двадцатидевятилетний,
Добро и зло презрев, дилеммой
в мозгу, не утихая, тикает
боль тяжелейшей паутинкой.

Живу я ночь твою последнюю,
к тебе в опочивальню следую.
И пальцы узкие убийцы
мне в шею впились, как мокрицы,
следы их, как улитки, липки...

А над тобою, как улики,

У всех богов — твои улыбки.
Ты им откокал черепушки
и прилепил свой лик опухший.
С кудряшками, как мамалыга.
Молись, Калигула.

Читаю: «Тело волосато,
затмил пирами Валтасара».
Читаю: «Гримом рот замаран,
и череп лыс, как бюст из мрамора».
Ты, тонкошей, думал, шельма:
«Всем римлянам одну бы шею».
Мразь. Гениального калибра.
Молись, Калигула!

Мальш, ты помнишь, как, зареванный,
ты в детстве спал, обняв звереныша.
Сегодня ни одна зверюга
С тобой не ляжет. Нету друга.

А ляжет юноша осенний,
тобой задушенный в бассейне.
Забрызган кровью бог Адонис —
Нарцисс, Калигула, подонок!

И в низкий миг тебя из мрака
пронзит прозрение зигзагом.
Ты все познаешь. Взвоешь криком —
бедняга, иволга, Калигула!

Лежи, сподобленный нездешнему,
в бассейне ледяном и траурном,
катая ядра августейшие,
пока они не станут мраморными...

Молись за малыша, Калигула,
не за империю великую,
за мальчика молись.
Скулило
зверье в загонах. Им спокойней.
Они не знают беззаконий
и муки, свойственной тиранам.
Мы, все забрав, — себя теряем.
Молись за наше время гиблое,
мой тезка, гибельный Калигула.

(У Мандельштама: «А вокруг его сброд тонкошеих вождей...» - намек на тонкошеего Молотова)

Вийон

Поэтическое состязания в Блуа

От жажды умираю над ручьем,
Смеюсь сквозь слезы и тужусь играя,
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне – страна моя родная.

Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышнее всех господ,
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Я скуп и расточителен во всем,
Я жду и ничего не ожидаю,
Я нищ, и я кичусь своим добром.
Трещит мороз – я вижу розы мая.

Долина слез мне радостнее рая.
Зажгут костер – и дрожь меня берет,
Мне сердце отогреет только лед.
Запомню шутку я и вдруг забуду,
И для меня презрение – почет,
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не вижу я, кто бродит под окном,
Но звезды в небе ясно различаю.
Я ночью бодр и засыпаю днем.
Я по земле с опаскою ступаю,
Не вехам, а туману доверяю.
Глухой меня услышит и поймет.
И для меня полыни горше мед.

Но как понять, где правда, где причуда?
И сколько истин? Потерял им счет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.
Не знаю, что длиннее – час иль год,
Ручей иль море переходят вброд?
Из рая я уйду, в аду побуду.
Отчаянье мне силу придает.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

(Кто только не переводил эту балладу, но мне всегда казалось, что это – про меня, что автор чувствует то же. Оказалось – не чувствовал того же Вийон. Оказалось, он лишь победил с этой «импровизацией», он лишь воспользовался чужими стихами. Правда, сделал это в совершенной форме.)

Василь Симоненко

Тоді вас люди називали псами,
Бо ви лизали німцям постоли,
Кричали «Хайль!» охриплими басами
І «Ще не вмерла...» голосно ревли.

Де ви ішли – там пустка і руїна,
І трупи не вміщалися до ям.
Плювала кров'ю «ненька Україна»
У морди вам і вашим хазаям.

Ви пропили б уже її, небогу,
Розпродали і нас по всій землі,
Коли б тоді Україні на підмогу
Зі сходу не вернулись «москалі»

Тепер ви знов, позв'язувавши кості,
Торгуете і оптом, і в роздріб,

Нових катів запрошуете в гості
На українське сало і на хліб

Гарсія Лорка

Разбойники с марокканцами и бомбовозами,
разбойники с перстнями и с герцогинями,
разбойники с монахами, благословлявшими убийц,
пришли, и кровь детей текла по мостовой
совсем как кровь детей
Шакалы, от которых отступятся шакалы,
гадюки - их возненавидят гадюки,
камни - их выплюнет репейник.

Перед началом гражданской войны Гарсия Лорка уезжает из Мадрида в Гранаду, хотя было очевидно, что там его ждет серьёзная опасность: на юге Испании были особенно сильны позиции правых. 18 августа 1936 г. франкисты арестовывают Гарсия Лорку, и на следующий день поэта убивают в горах как республиканца. После этого до смерти генерала Франко книги Гарсия Лорки были запрещены в Испании.

Пабло Неруда

Есть дни, которые еще в пути,
которые покуда не готовы,
как хлеб, как стулья, как любой продукт,
производимый в мастерской, в аптеке, -
есть фабрики грядущих дней, и в них
есть мастера на каждый вкус и душу,
они отмеривают, ладят, строят
и ясные, и пасмурные дни,
которые однажды постучатся,
чтоб наградить нас спелым апельсином,
или в упор, с порога, расстрелять.

Т.-С. Элиот. Перевод Зенкевича

Прелюдия

Густеет зимний вечер в ночь,
И запахи чадит жаркое.
Шесть часов.
Сожженье зимних дней такое,
И вот вам ноги обмотал
Дождливый шквал
Листовою, сброшенною в грязь,
Газетами с пустых участков,
И бьет, сердясь,
О ставни трубы ливень частый.
А на углу стоит, дымясь,
Извозчичья худая кляча,
И фонари зажглись, маяча

Вилли Паттерн

Он вставал из тумана
Навстречу бушприту,
Остров дикий и странный,

Безлюдный, забытый.

Мы смотрели вперед
Лениво и праздно,
Мы прошли над акулой
Сигарообразной.

Над подводным течением,
Стремящимся к норду,
Мы прошли, как виденье,
Спокойно и гордо.

Остров плыл перед нами!
Из радужной дали,
Как органные трубы,
Деревья звучали,

И цветы раскрывали
Горячие пасти,
Птицы громко орали
О чуде и счастье.

За кормой он остался,
Как прежде, неведом.
Пенный след потерялся
Меж нами и бредом.

Мы дышим парами бензина,
И это для нас – о-кей.
Неба серая тина
Над ямами площадей,

Пыльный ветер в ущельях,
Пляска цветных реклам.
Трупы лежат в постелях,
Живые ушли по делам.

Есть мир, где всё наоборот,
Вверх дном и наизнанку,
Над крышами летает крот
И джем не лезет в банку.

Там больше Солнца электрон,
Хоть и лишен заряда,
И вместо яблока Ньютон
С зеленой ветки падал.

Как я хочу попасть туда,
Где счастье, а не горе,
Туда, где вверх течет вода,
Где небом стало море.

Поль Верлен

Nevermore

Зачем, зачем ты льнешь ко мне, воспоминанье?
Дрозда косою полет в осеннем увяданье.
Однообразный свет, бессильное сиянье
Над желтою листвою - и ветра бормотанье...
Мы шли, она и я, - и ни души вокруг, -
В мечты погружены; она спросила вдруг:
"Какой из дней твоих был самым лучшим, друг?"
О, голоса ее небесный, кроткий звук,
Живого серебра звук сладостный и зыбкий...
Я, затаив слова, ответил ей улыбкой
И губы приложил к ее руке тогда...
Как первые цветы всегда благоуханны!
И первое в устах родившееся "да",
И самые уста - как были вы желанны!

**8

Воспоминанье в Сумерках печали
Чуть брезжится на небе, и закат
Надежды ярким пламенем объят,
А прошлого тускнеющие дали
Одел туман, в котором, слившись в ряд, -
Тюльпаны, розы, лилии, сабали
Сплетаются с решётками оград
И, шелестом своим наполнив сад,
Так запахами воздух пропитали -
Тюльпаны, розы, лилии, сабали, -
Что их тлетворный резкий аромат
Дурманит мозг, и тщетно ловит взгляд
Воспоминанье в Сумерках печали

Кружитесь вовсю, расписные лошадки,
Кружись карусель, чтобы ветер был встречный,
Кружись неустанно, кружись бесконечно,
Под звуки гобоев кружись без оглядки.

Ребёнок стал красным, а мать бледнолица,
Девушка весёлая в розовом платье,
Юнец франтоватый, и каждый здесь платит
Воскресную мелочь за право кружиться.

Кружитесь, кружитесь, лошадки их сердца,
Кружитесь под звуки трубы и кларнета,
В то время как, шурясь, взирает на это
Внимательный плут, охраняющий дверцы.

Как странно, что вас опьяняет и манит
И цирк этот глупый, и рёв этот жуткий,
И тяжесть в затылке, и лёгкость в желудке,
И всё, что толпу веселит и дурманит.

Кружитесь, лошадки! Тромбон не устанет
Над вами трубить, никого не жалея,
Нежней вы овечек и даже нежнее
Народа во время бунтов и восстаний.

А ветер полощет трёхцветное знамя,
И ветер по стенам брезентовым хлещет,
Срывая и юбки, и прочие вещи,
Раскатами грома грохочет над вами.

Кружитесь, лошадки, кружитесь бесменно,
И чтобы по кругу носились вы дружно,
Не нужно вам шпор, и хлыста вам не нужно,
Не нужно надежды на стойло и сено.

Спешите, спешите, о сердца лошадки!
Час трапезы поздней уже наступает,
Спускается ночь и толпу выметает
Весёлых гуляк, что на выпивку падки.

Кружитесь, кружитесь! Пылают, как рана,
Ночные светила небесной короны.
Кружитесь под тягостный звон похоронный
Кружитесь под радостный бой барабана.
1881.

Перевод П. Антокольского, это лучший перевод, вы не найдете его в интернете.

Редьярд Киплинг. Перевод Симонова

Жил-был дурак. Он молился всерьёз
(Впрочем, как Вы и Я).
Тряпкам, костям и пучку волос –
Всё это пустою бабой звалось,
Но дурак её звал Королевой Роз
(Впрочем, как Вы и Я).

О, года, что ушли в никуда, что ушли,
Головы и рук наших труд –
Всё съела она, не хотевшая знать
(А теперь-то мы знаем – не умевшая знать),
Ни черта не понявшая тут.

Что дурак растрянжирил, всего и не счесть
(Впрочем, как Вы и Я) –
Будущность, веру, деньги и честь.
Но леди вдвое могла бы съесть,
А дурак – на то он дурак и есть
(Впрочем, как Вы и Я).

О, труды, что ушли, их плоды, что ушли.
И мечты, что вновь не придут, –
Всё съела она, не хотевшая знать
(А теперь-то мы знаем – не умевшая знать),
Ни черта не понявшая тут.

Когда леди ему отставку дала
(Впрочем, как Вам и Мне),
Видит Бог, Она сделала всё, что могла.
Но дурак не приставил к виску ствола.
Он жив. Хотя жизнь ему не мила.

(Впрочем, как Вам и Мне.)

В это раз не стыд его спас, не стыд,
Не упрёки, которые жгут, —
Он просто узнал, что не знает она,
Что не знала она и что знать она
Ни черта не могла тут.

Артюр Рембо

Я брёл, засунув руки в дырявые карманы
И бредил про любое дрянное пальтецо.
Я брёл под небом, Муза, глядел тебе в лицо
И — о-ля-ля! — влюблялся в блестящие туманы.
Последняя штанина, истёртая до дыр,
Последний мальчик с пальчик стихи рифмует скверно.
Казалась мне Большая Медведица таверной.
Со мною в звёздном небе шептался звёздный клир.
Я слушал звёздный шёпот при придорожном камне.
Сентябрьский тихий вечер мерцал издали мне
И каждую росинкой в меня отвагу лил.
Весь этот мир волшебный рифмуя понемногу,
Из башмака худого вытягивал я ногу
И между тем мозгами немного шевелил.

Элюар

Пикассо

Клинками сна в ночи проведена
Волшебная черта, и мы опять чужие.
Любой медали фальшь пасует пред алмазом,
Под небом яростным невидима земля.
Лик сердца потерял свои живые краски,
Снега ослеплены, и солнце ищет нас,
Но горизонт распаивает крылья,
И пелена спадает с наших глаз.

Дождливые, медлительные дни,
Дни треснувших зеркал, потерянных иголок,
Дни тяжких век в ограде горизонта,
Часов безликих дни, глухого плена дни.

Мой дух, ещё вчера сверкавший
В густой листве, — сегодня гол, как чувство,
И позабыл зарю, и головой поник,
Глядит на плоть свою, послушную, чужую.

Однако видел я прекрасные глаза
Серебряных богов, в руках сапфир державших,
Да, истинных богов, крылатых птиц Земли
И ясных вод, я видел их, я видел.

И крылья их — мои.
Ничто во всей Вселенной

Не существует, только их полёт,
И он мои печали прочь несёт,
Полёт планет, Земли, и звёзд полёт, и камня,
И мысль моя на жизни и на смерти —
На двух крылах, на двух волнах плывёт.

Бёрнс

В горах мое сердце... Доныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу.

Прощай, моя родина! Север, прощай, -
Отечество славы и доблести край.
По белому свету судьбою гоним,
Навеки останусь я сыном твоим!

Прощайте, вершины под кровом снегов,
Прощайте, долины и скаты лугов,
Прощайте, поникшие в бездну леса,
Прощайте, потоков лесных голоса.

Рабиндранат Тагор

О, мама, юный принц мимо нашего дома проскачет, как же я могу быть в это утро прилежной? Покажи, как мне волосы заплести, подскажи, какие одежды надеть. Отчего на меня смотришь так удивленно ты, мама? Да, я знаю, не мелькнет его быстрый взгляд на моем окне, во мгновение ока умчит он из глаз моих, только флейты гаснущий напев долетит ко мне, всхлипнув, издалека. Но юный принц мимо нашего дома проскачет, и свой лучший наряд я надела на это мгновенье.

О, мама, юный принц мимо нашего дома промчался, и утренним солнцем сверкала его колесница. Я откинула с лица своего покрывало, я сорвала со своей шеи рубиновое ожерелье и бросила на пути его. Отчего на меня смотришь так удивленно ты, мама? Да, я знаю, он не поднял с земли ожерелья, в красную пыль превратили его колеса, красным пятном на дороге оставив, и никто не заметил ДАРА моего, и кому он был предназначен.

Но юный принц перед нашим домом промчался, и свой лучший наряд я надела на это мгновенье.

Аполлинер

Прощание

Срываю вереск... Осень мертва...
На земле – ты должна понять –
Мы не встретимся больше. Шуршит трава...
Аромат увядания... Осень мертва...
Но встречи я буду ждать.

Пауль Целан. Перевод Гинзбурга

Фуга смерти

Черная жижа рассвета мы пьем тебя ночью и в полдень
мы пьем тебя утром и вечером
пьем тебя пьем тебя пьем
в доме живет человек

когда над его Германией опускаются сумерки
он пишет играет со змеями
пишет о золоте кос твоих Маргарита
о пепле волос твоих Суламифь
кричит музыкантам играйте
играйте вы скверно играете
больше души больше чувства вы обижаете смерть
смерть немецкая музыка смерть великий маэстро
и скрипки играют чуть тише
играют чуть приглушеннее
сейчас вы станете дымом сейчас вы подниметесь в воздух
в тучах вам будет могила там лежать попросторней
не так будет тесно
не так

Шекспир. Перевод Маршака

Сонет 66

Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеяньи,

И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,

И прямоту, что глупостью сльвёт,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

Всё мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!

Бертольд Брехт

Легенда о девке Ивлин Ру

Она была сама не своя
весной на морском ветру.
И с последней шляпкой на борт приплыла
юная Ивлин Ру.

Носила платок цвета мочи
на теле красы неземной.
Колец не имела, но кудри ее лились золотой волной.

«Господин капитан, возьмите меня
с собой до Святой Земли.
Мне нужно к Иисусу Христу.»
«Поедем, женщина, мы — бобыли —
понимаем твою красоту.»

«Вам это зачтется. Иисус-Господь
владеет душой моей». —
«А нам подари свою сладкую плоть,
Господь твой помер уже давно,
и некому душу твою жалеть,
и ты себя не жалея.

И поплыли они сквозь ветер и зной,
и любили Ивлин Ру.
Она ела их хлеб, пила их вино
и плакала поутру.

Они плясали ночью и днем,
плывя без ветрил и руля.
Она была робкой и мягкой, как пух.
Они — тверды, как земля.

Весна пришла, и ушла весна.
Когда орали на пьяном пиру,
металась по палубе корабля
и берег в ночи искала она —
бедная Ивлин Ру.

Плясала ночью, плясала днем,
плясала сутки подряд.
«Господин капитан, когда мы придем
в пресветлый Господень Град?»

Капитан хохотал, лежа на ней
и глядя ее по бедру:
«Коль мы не прибудем — кто ж виноват? —
одна только Ивлин Ру.»

Плясала ночью, плясала днем,
исчахла, бледна как мел.
Юнги, матросы и капитан —
каждый ее имел.

Она ходила в грязном шелку,
ее измызгали в лоск.
И на ее исцарапанный лоб
спускались патлы волос.

«Никогда не увижу тебя, Иисус,
меня опоганил грех.
До шлюхи не сможешь ты снизить,
оттого я несчастней всех.

От мачты к мачте металась она,
потому что тоска проняла.
И не видел никто, как упала за борт,
как волна ее приняла.

Тогда стоял студеный январь,
плыла она много недель.
И когда на земле распустились цветы,
был март или апрель.

Она отдалась темным волнам
и отмылась в них добела.
И, пожалуй, раньше, чем капитан
в Господнем Граде была.

Но Петр захлопнул райскую дверь:
«Ты слишком грешила в миру.
Мне Бог сказал, не желаю принять
потаскуху Ивлин Ру.

Пошла она в ад, и там Сатана
заорал: «Таких не беру!
Не хочу богомолку иметь у себя —
блаженную Ивлин Ру!»

И пошла сквозь ветер и звездную даль,
пошла сквозь туман и мглу,
Я видел сам, как она брела,
ее шатало, но шла и шла
несчастливая Ивлин Ру.

РУССКИЕ И СОВЕТСКИЕ ПОЭТЫ

Владимир Нарбут

Всё великое приходит вдруг.
И путей планеты мы не знаем,
Только время спорит с Менелаем,
Разрывая лапами испуг.
Но любовь играет той же дамой –
Бархатная, сметливая крыса,
От широколаплого Адама
До крылатоногого Париса.

Что ж такого, если вдруг она
И в мою щеку вцепила зубки.
Так теплы и так душисты юбки,
И пустая просится луна.
Охраняют, заливаясь лаем,
кобели за длинным частоколом,
Только время спорит с Менелаем.
Мы же – каждый со своим уколом.

Ты не бойся яблочных часов,
В коих плоть не ведает раздора, (грудь)
Сыростью напитанная штора,
да табачный запах от усов.
Тонкий холод овекает плечи,
И пылают животы корзины,
Лишь теперь мы бьемся без причины
В нашей оболочке человеческой,

Лишь теперь мы знаем: никогда
Нам не нужно превращаться в кремний,
Пусть вперед и назад струится время,
Собирает круглые года,
Пусть течет густая, до колена,
Судорога, вьется лай собачий,

Ева ты моя, Елена,
Что ты в жертве ценишь наипаче?
Выпяченные – бери – соски,
Виевы ли веки или губы,
Иль в пахах архангеловы трубы,
Сжатые в утробные тиски.

Мы поймали то, что днем ловили,
И любовь испробует свой рашпиль
Не однажды, как и когти филин.
Смерть на яблоке двуполой тяжбы.

Прорвана суровая попона
Звездными ежами, и звенит
Холодком щекочущим зенит.
И победным холодком колонна.

Чуток сон твой, питерский гранит,
Но и ты не слышишь, как влюблено
Совесть, заговорщица Гапона,
В мутный омут ручкою манит.

Вот и день купается в тумане,
И на площади – пятно пятна румяней,
Лижет кровь облезлый пес – зима.
И потом на даче опустелой,
Где удавленник висит, на тело
Пятился луна – акелдама (поле брани)

(Владимир Нарбут – большевик, воевал в Гражданскую, был уничтожен в сталинском лагере, как и воевавший в Гражданскую автор «Конармии» Бабель», как и воевавший в Гражданскую большевик, автор книги «Россия, кровью умытая», Артем Веселый.)

Алексей Толстой

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Тёмно-голубые?
И о чём звените вы
В день весёлый мая,
Средь некошенной травы
Головой качая?

Конь несёт меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьёт своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Тёмно-голубые!

Я бы рад вас не топтать,
Рад промчатся мимо,
Но уздой не удержать

Бег неукротимый!
Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;
Конь несёт меня лихой,-
А куда? не знаю!

Он учёным ездоком
Не воспитан в холе,
Он с буранами знаком,
Вырос в чистом поле;
И не блещет как огонь
Твой чепрак узорный,
Конь мой, конь, славянский конь,
Дикий, непокорный!

Есть нам, конь, с тобой простор!
Мир забывши тесный,
Мы летим во весь опор
К цели неизвестной.
Чем окончится наш бег?
Радостью ль? кручиной?
Знать не может человек -
Знает бог единый!

Упаду ль на солончак
Умирать от зною?
Или злой киргиз-кайсак,
С бритой головою,
Молча свой натянет лук,
Лежа под травую,
И меня догонит вдруг
Медною стрелою?
...

Гой вы, цветики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем грустите вы
В день веселый мая,
Средь некошенной травы
Головой качая?

Бунин

Песня

Я - простая девка на баштане,
Он - рыбак, веселый человек.
Тонет белый парус на Лимане,
Много видел он морей и рек.

Говорят, гречанки на Босфоре
Хороши... А я черна, худа.
Утопает белый парус в море -
Может, не вернется никогда!

Буду ждать в погоду, в непогоду...

Не дождусь - с баштана разочтусь,
Выйду к морю, брошу перстень в воду
И косою черной удавлюсь.

Бальмонт

Безглагольность

Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.

Приди на рассвете на склон косогора,-
Над зябкой рекою дымится прохлада,
Чернеет громада застывшего бора,
И сердцу так больно, и сердце не радо.

Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далёко-далёко.
Во всем утомленье - глухое, немое.

Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада,-
Деревья так сумрачно-странно-безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо.

Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило, но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно.

Гудзенко

Когда на смерть идут - поют,
а перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою -
час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв - и умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед,
За мной одним идет охота.
Будь проклят сорок первый год,
Ты, вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв - и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи

окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шею.

Бой был коротким. А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей я кровь чужую

Шпаликов

По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.

Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.

Путешествие в обратно
Я бы запретил,
И тебя прошу, как брата,
Душу не мути.

А не то рвану по следу —
Кто меня вернет? —
И на валенках уеду
В сорок пятый год.

В сорок пятом угадаю,
Там, где — боже мой! —
Будет мама молодая
И отец живой.

По реке битый лед.
На реке навигация,
На реке ледоход.
Пароход белый-беленький
Дым над красной трубой.
Мы по палубе бегали —
Целовались с тобой.

Пахнет палуба клевером,
Хорошо, как в лесу.
И бумажка приклеена
У тебя на носу.

Ах, ты, палуба, палуба,
Ты меня раскачай,
Ты печаль мою, палуба,
Расколи о причал.

Не помню, кто, это начало 80-х

Мне снился сон. Из тысячи лишь этот
Я буду помнить. Снился дивный сон,
Ты Золушкой скользила по паркету,
А я был принц и был в тебя влюблен.

Мы танцевали, и застыла полночь
Тревожно, под надменный бой часов.
Как наяву, нам не хватало слов,
И ждали мы волшебницу на помощь.

...

Как будто в первозданной вышине
Мелькнул пучок мерцающего света
Летящих лет. Я не забыл об этом.

И вот уже подряд который год
Я вместо света вижу отраженье,
Как будто бы закончилось движенье,
А тень его по-прежнему живет.

Антокольский

В. А. Каверину

Долой подробности! Он стукнул по странице
Тяжелым кулаком. За ним еще сквозит
Беспутное дитя Парижа. Он стремится
Не думать, есть, гулять. Как мерзок реквизит
Чердачной нищеты... Долой!

Но, как ни ставь их,
Все вещи кажутся пучинами банкротств,
Провалами карьер, дознаньем очных ставок.
Все вещи движутся и, пущенные в рост,
Одушевляются, свистят крылами гарпий.

Но как он подбирал к чужим замкам ключи!
Как слушал шепоты, — кто разгадает, чьи? —
Как прорывал свой ход в чужом горячем скарбе!

Кишит обломками иллюзий черновик.
Где их использовать? И стоит ли пытаться?
Мир скученных жильцов от воздуха отвык.
Мир некрасивых дрызг и грязных репутаций
Залит чернилами.

Чем кончить? Есть ли слово,
Чтобы швырнуть скандал на книжный рынок снова
И весело резнуть усталый светский слух
Латынью медиков или жаргоном шлюх?

А может быть, к утру от сотой правки гранок
Воспрянет молодость, подруга нищеты.
Усталый человек очнется спозаранок
И с обществом самим заговорит на «ты»?

Он заново начнет! И вот. едва лишь выбрав
Из пепла памяти нечаянный кусок,

Он сразу погружен в сплетенье мелких фиброз,
В сеть жилок, бьющихся как доводы в висок.

Писать. Писать. Писать... Ценой каких угодно
Усилий. Исчеркав хоть тысячу страниц,
Найти сокровище. Свой мир. Свою Голконду.
Сюжет, не знающий начала и границ.

Консьержка. Ростовщик. Аристократ. Ребенок.
Студент. Еще студент. Их нищенство. Обзор
Тех, что попали в морг. Мильоны погребенных
В то утро. Стук дождя по стеклам. Сны обжор.
Бессонница больных. Сползли со щек румяна.
И пудра сыплется. Черно во всех глазах.

Светаает. Гибнет ночь. И черновик романа
Дымится. Кончено.
Так дописал Бальзак.

Санкюлот

Мать моя - колдунья или шлюха,
А отец - какой-то старый граф.
До его сиятельного слуха
Не дошло, как, юбку разодрав
На пеленки, две осенних ночи
Выла мать, родив меня во рву.
Даже дождь был мало озабочен
И плевал на то, что я живу.

Мать мою плетьюми полосовали.
Рвал ей ногти бешеный монах.
Судьи в красных мантиях зевали,
Колокол звонил, чадили свечи.
И застыл в душе моей овечьей
Сон о тех далеких временах.

И пришел я в городок торговый.
И сломал мне кости акробат.
Стал я зол и с двух сторон горбат.
Тут начало действия другого.
Жизнь ли это или детский сон,
Как несло меня пять лет и гнуло,
Как мне холодом ломило скулы,
Как ходил я в цирках колесом,
А потом одной хрычовке старой
В табакерки рассыпал табак,
Пел фальцетом хриплым под гитару,
Продавал афиши темным ложам
И колбасникам багроворожим
Поставлял удушенных собак.

Был в Париже голод. По-над глубиью
Узких улиц мчался пережат
Ярости. Гремела канонада.
Стекла били. Жуть была - что надо!
О свободе в Якобинском клубе

Распинался бледный адвокат.
Я пришел к нему, сказал:
 «Довольно,
Сударь! Равенство полно красы,
Только по какой линейке школьной
Нам равнять горбы или носы?
Так пускай торчат хоть в беспорядке
Головы на пиках!
 А еще -
Не читайте, сударь, по тетрадке,
Куй, пока железо горячо!»

Адвокат, стрельнув орлиным глазом,
Отвечает:
 «Гражданин горбун!
Знай, что наша добродетель - разум,
Наше мужество - орать с трибун.
Наши лавры - зеленью каштанов
Нас венчает равенство кокард.
Наше право - право голоштаных.
А Версаль - колода сальных карт».
А гремел он до зари о том, как
Гидра тирании душит всех:
Не хлебнув глотка и не присев,
Пел о благодарности потомков.

Между тем у всех у нас в костях
Ныла злость и бушевала горечь.
Перед ревом человечьих сборищ
Смерть была как песня. Жизнь - пустяк.
Злость и горечь. Как давно я знал их!
Как скреплял я росчерком счета
Те, что предъявляла нищета,
Как скрипели перья в трибуналах!
Красен платежами был расчет!
Разъезжали фуриями фуры.
Мяла смерть седые куафюры
И сдувала пудру с желтых щек.
И трясла их в розовых каретах,
На подушках, взбитых, словно крем,
Лихорадка, сжатая в декретах,
Как в нагих посылках теорем.

Ветер. Зори барабанов. Трубы.
Стук прикладов по земле нагой.
Жизнь моя - обугленный обрубок,
Прущий с перешибленной ногой
На волне припева, в бурной пене
Рваных шапок, ружей и знамен,
Где любой по праву упоенья
Может быть соседом заменен.

Я упал. Поплыли пред глазами
Жерла пушек, зубы конских морд.
Гул толпы в ушах еще не замер.
Дождь не перестал. А я был мертв.
«Дотащиться бы, успеть к утру хоть!» -
Это говорил не я, а вихрь.
И срывал дымящуюся рухлядь

Старый город с плеч своих.

И сейчас я говорю с поэтом,
Знающим всю правду обо мне.
Говорю о времени, об этом
Рвущемся к нему огне.

Разве знала юность, что истлеть ей?
Разве в этой ночи нет меня?
Разве день мой старше на столетье
Вашего молодого дня?
И опять:

«Дождаться, доползти хоть!»

Это говорю не я, а ты.
И опять задремывает тихо
Море вечной немоты.

И опять с лихим припевом вровень,
Чтобы даже мертвым не спалось,
По камням, по лужам дымной крови
Стук сапог, копыт, колес.

Иван Жданов

Пустая телега уже позади,
И сброшена сбруя с тебя, и в груди
Остывшие угли надежды.
Ты вынут из бега, как тень, посреди
Пустой лошадиной одежды.

Таким ты явился сюда на простор
Степей распростертых, и, словно в костер,
Был брошен в веление бега.
Таким ты уходишь отсюда с тех пор,
Как вскачь укатила телега.

А там, за телегой, к себе самому
Буланое детство уходит во тьму,
Где бродит табун вверх ногами,
И плачет кобыла в метельном дыму,
К тебе прикасаясь губами.

Полночный табун шелестит, как вода,
С рассветом приблизятся горы, когда
Трава в небесах заklubится,
И тихо над миром повиснет звезда
Со лба молодой кобылицы.

Такую ночь не выбирают —
Бог-сирота в нее вступает,
и реки жмутся к берегам.
И не осталось в мире света,
и небо меньше силуэта
дождя, прилипшего к ногам.
И этот угол отсыревший,
и шум листвы полуистлевшей

не в темноте, а в нас живут.
Мы только помним, мы не видим,
мы и святого не обидим,
нас только тени здесь поймут.
В нас только прошлое осталось,
ты не со мною целовалась.
Тебе страшней — и ты легка.
Твои слова тебя жалеют.
И не во тьме, во мне белеют
твое лицо, твоя рука.
Мы умираем понемногу,
мы вышли не на ту дорогу,
не тех от мира ждем вестей.
Сквозь эту ночь в порывах плача
мы, больше ничего не знача,
сойдем в костер своих костей.

Зима

Дорога свернута в рулон,
линяет лес со всех сторон,
справляя праздную затею
и реки покрывая льдом,
держа их на весу вверх дном,
зима пирует. Рядом с нею
мы оказались за столом.

Какая сила нас свела?
И как она одна смогла,
переплавляя наши лица,
их в зимний лик навек свести,
туманом тяжким обвести
и, чтоб самой не простудиться,
его снегами занести?

В крови ярится белизна.
Мы лишены и тени сна.
Трещит костер морозной стужи.
И души смерзлись, как на грех,
теперь одна душа на всех.
Ее, облезлую, снаружи
морозный покрывает мех.

И волосатая душа,
морозным ладаном дыша,
стуча прозрачными зубами,
вступает в многолюдный рай
и вносит сумерки в трамвай.
И дети чертят сапогами
на ней какой-то каравай.

Потом становятся в кружок,
твердят заученный стишок,
заводят с нею разговоры.
И небо смотрит на игру,
и раздвигает ввечеру
свои застенчивые шторы,

и просит ангела к костру.

Но ангел в детских сапогах
уже испытывает страх -
его зима насквозь пронзила.
Учись, дитя, ходить кружком,
учись, душа, дышать снежком,
но земляничный запах мыла
оставь у неба под крылом.

Поезд.
4.

И поезд вдоль ночи вагонную осень ведет
и мерно шумит на родном языке океана.
Предчувствием снега блуждает огней хоровод,
как бред шестеренок внутри механизма тумана.

И, уши закрыв, наклонившись, сидит Одиссей,
читая кручину, один в полутемном вагоне.
И пенье сирен надвигается тяжестью всей,
и меркнет, и реет, и слух обжигает ладони.

И ту же кручину читая с другого конца,
за окнами ветер проносит обрывки пейзажа,
и вьется, и рвется, и чертит изгибы лица,
и кружится холод, и небо чернеет, как сажа.

И гнется под ветром холодный рассудок часов,
зубцами срываясь и гранями в нем цепenea.
Все ближе и ближе неведомый хор голосов.
Все дальше и дальше относит лицо Одиссея.

О, дом Одиссея, в пути обретающий все,
ты так одинок, что уже ничего не теряешь.
Дорогу назад не запомнит твое колесо,
а ты снегопад часовому рассудку вверяешь.

Блок

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,-
Как слезы первые любви

...

...

Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.

О, Русь моя! Жена моя. До боли
Нам ясен долгий путь.
Наш путь - стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Наш путь - степной, наш путь - в тоске безбрежной -
В твоей тоске, о, Русь.
И даже мглы - ночной и зарубежной -
Я не боюсь.

...

Маяковский

...

В ковчеге ночи,
новый Ной,
я жду -
в разливе риз
сейчас придут,
придут за мной
и узел рассекут земной
секирами зари.
Идет!
Пришла.
Раскуталась.
Лучи везде!
Скребут они.
Запели петли утло,
тихо входят будни
с их шелухою сутолок.

Солнце снова.
Зовет огневых воевод.
Барабанит заря,
и туда,
за земную грязь вы!
Солнце!
Что ж,
своего
глашатая
так и забудешь разве?

(Это поэма «Человек», когда Маяковский ее читал в поэтическом кругу, Андрей Белый, Марина Цветаева, слушали, сложив молитвенно руки.)

...

И вижу, над домом
по риску откоса
лучами идешь,
собираешь их в копны.
Тянусь,
но туманом ушла из-под носа.

И снова стою
онемелый и вкопанный.
Гуляк полуночных толпа раскололась,
почти что чувствую запах кожи,
почти что дыханье,
почти что голос,

я думаю - призрак,
он взял, да и ожил.

Рванулась,
вышла из воздуха уз она.
Ей мало
- одна! -
раскинулась в шествие.
Ожившее сердце шарахнулось грузно.
Я снова земными мученьями узнан.
Да здравствует
- снова! -
мое сумасшествие!

Гумилев

Я думал, я верил, и свет мне предстал, наконец!
Создав, навсегда отпустил меня року создатель;
Я продан. Я больше не божий, ушел продавец,
И с явной насмешкой глядит на меня покупатель.

...

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно - колокольчик фарфоровый в желтом Китае
На пагоде пестрой висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.

А смуглая девушка в платье из красных шелков,
Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
С поджатыми ножками смотрит без молеб и слов,
Внимательно слушая легкие, легкие звоны.

Заблудившийся трамвай

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний гай,
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трем мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд

Нищий старик, — конечно тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?

Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят — зеленная, — знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренной косой
Шел представляться Императрице
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.

Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.

И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить...
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

Анненский

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...

Не потому, чтоб я Её любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Неё одной ищу ответа,
Не потому, что от Неё светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Белый (Борис Бугаев)

Твои очи, сестра, остеклели:
Остеклели — глядят, не глядят.
Слушай! Ели, ветвистые ели
Непогодой студеной шумят.

Что уставилась в дальнюю просинь
Ты лицом, побелевшим, как снег.
Я спою про холодную осень,—
Про отважный спою я побег.

Как в испуге, схватившись за палку,
Крикнул доктор: «Держи их, держи!»
Как спугнули голодную галку,
Пробегая вдоль дальней межи —

Вдоль пустынных, заброшенных гумен.
Исхлестали нас больно кусты.
Но, сестра: говорят, я безумен;
Говорят, что безумна и ты.

Про осеннюю мертвую скуку
На полях я тебе пропою.
Дай мне бледную, мертвую руку —
Помертвевшую руку свою:

Мы опять убежим; и заплещут
Огневые твои лоскуты.
Закружатся, заплещут, заблещут,
Затрепещут сухие листья.
Я бегу... А ты?

Сельвинский

Баллада о барабанщике

Крала баба грозди,
Крала баба грузди,
Крала баба бо-бы да го-рох.

Да в ковыле бобыли-то были:
Брали бабу на курок.
Были бобыли-то,
Были бобыли-то,
Были бобыли-то
Злы, как бес.
Была баба в шубке,
Была баба в юбке,

Была баба в панталонах,
Стала – без.
Вот
Ведь
Вид.
Была баба ряба,
Но боялась баба:
"Эх, кабы хотя ба
Помог ба бог!"
Но заместо бога
Брел по эпохе
Паренек убогий —
В барабане бок.
Был он, паря, ранен,
По-на поле брани.
Спал на барабане,
Пёр на пункт.

Вдруг заметил из кустов он,
Будто кто-то арестован,
Да не нашею командой —
– Что такое? Бунт?
Сел против бражки,
Снял барабашку,
Сам себе скомандовал:

«Крой!»
В бурый бок
барабанной
перепонки
барабана
вбарабанил
барабанщик
барабанный
бой.
Дррррроби рокот орлий
Прокатился в горле.
Думали, померли
Бобыли —
Рухнули рядами
С траурными ртами
Подле голой дамы
— В пыли.
Хрип.
Храп.
Гроп!
Тут барабанщик
Бросил барабанчик,
Выйдя разобрать их
В короткий срок:
Бабе отдал шубку,
Бабе отдал юбку,
А бобылям-то бобы да горох.

"Вы, — говорит, — баба,
Действовали слабо.
Выразился я ба:
Анархицкая борьба.
Погоди, бабеха,

Ликвиднем царя Гороха,
Тогда пузырься от гороха.
Как барабан".

Барабаны в банте,
Славу барабаньте!
Барабарабаньте
Во весь свой раж.
Ни в Провансе,
Ни в Брабанте
Нет барабанщика
Таков как наш.

...
Ехали казаки, да ехали казаки,
Да ехали каза-ха?-ки, чубы по губам,
Ехали казаки, на башке папахи,
Ехали под бубен да под галочий гам.

В люльках-носогрейках попыхивали угли,
Табаки наперчены – самсун да дюбек.
Конские гривы да от крови пожухли –
Будет помнить Украина яицкий набег.

Ехали казаки до дому из набега.
По усищам патока, по бородищам мёд.
Только что там завтра? Ведь наша жизнь –
копейка:
Не дорубит шашка – дохлопнет пулемёт.

Э, да что там думы? Пой, пока раздолье!
На четыре голоса кукуют подковы.
Ехали казаки. Перекати-поле,
Полынок да чебыряк, ковыль да ковыль.

Гайда-гайда-гайда-гайда гай даларайда,
Гайдаяра, гайдадида гай далара.
Ехали каза-а-ки. Перекати-по-о-ле,
Полынок серебряный да сизый ковыль.
...

Рубцов

Я долго ехал волоком,
И долго лес ночной
Всё слушал медный колокол,
Звеневший под дугой.

Звени, звени, мой колокол,
Мой колокол, трезвонь,
Шагай, шагай тихонечко
Мой добрый старый конь.

Хоть волки есть на волоке,
И долог тот волок,
Едва он сани к Вологде
По волоку волок.

Но вдруг заржал он молодо,
Гордясь без похвалы,
Когда увидел Вологду
Сквозь заволоку мглы.

Размытый путь, кривые тополя.
Я слышал звук – была пора отлета,
И вот я встал и вышел за ворота,
Где простирались жёлтые поля,

И вдаль пошёл... Вдали тоскливо пел
Гудок чужой земли, гудок разлуки!
И, глядя вдаль и вслушиваясь в звуки,
Я ни о чём тогда не сожалел.

Была суровой пристань в поздний час.
Во тьме, искрясь, дымили папиросы,
И трап стонал, и хмурые матросы
Устало поторапливали нас.

И вдруг такой повеяло с полей
Тоской любви, былых свиданий кратких!
Я уплывал всё дальше без оглядки
На мглистый берег юности своей.

Юнна Мориц

Запах пены морской и горячей листвы,
И цыганские взоры ворон привокзальных,
Это осень мой друг, это волны молвы
О вещах шерстяных и простудах банальных

Кто зубами стучит в облаках октября,
Кастаньетами клацает у колоколен,
Это осень мой друг, это клюв журавля,
Это звук сотрясаемых в яблоке зерен.

Лишь бульварный фонарь в это время цветущ,
на чугунных ветвях темноту освещая.
Это осень, мой друг! Это свежая тушь
расползается, тщательно дни сокращая.

Скоро все, что способно, покроется льдом,
синей толщей классической толстой обложки.
Это осень, мой друг! Это мысли о том,
как поить стариков и младенцев из ложки.

Как дрожать одному надо всеми людьми,
словно ивовый лист или кто его знает...
Это осень, мой друг! Это слезы любви
по всему, что без этой любви умирает.

Бродский

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду.
между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
- До свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой.
- словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

Александр Кушнер

Долго руку держала в руке.
Как и в давние дни не хотела
отпускать на ночном сквозняке
его легкую душу и тело.
И шепнул он ей, глядя в глаза:
«Если жизнь существует иная,
я подам тебе знак, стрекоза
постучится в окно золотая.»
Умер он через несколько дней.
В хладном августе реют стрекозы
там, где в пух превратился кипрей.
И на них она смотрит сквозь слезы.
И до позднего часа окно
оставляет нарочно открытым.
Стрекоза не влетает, темно,
не стучится с загробным визитом.
Значит, нет ничего. И смотреть
нет на звезды горячего смысла.
Хорошо бы и ей умереть.
Только сны и абстрактные числа.
Но звонок разбудил в 2 часа.
И в мобильную легкую трубку
чей-то голос сказал: «Стрекоза»,
как сквозь тряпку сказал или губку.
Я-то думаю, он попросил
перед смертью надежного друга.
Тот набрался отваги и сил.
Не такая большая услуга.

Заболоцкий

Белая ночь

Гляди: не бал, не маскарад,
Здесь ночи ходят невопад,
Здесь от вина не узнаваем,
Летает хохот попугаем.
Здесь возле каменных излучин
Бегут любовники толпой,
Один горяч, другой измучен,
А третий книзу головой.
Любовь стелется под листьями,
Она меняется местами,
То подойдет, то отойдет...
А музы любят круглый год.

Качалась Невка у перил,
Вдруг барабан заговорил -
Ракеты, выстроившись кругом,
Вставали в очередь. Потом
Они летели друг за другом,
Вертя бенгальским животом.

Качали кольцами деревья,
Спадали с факелов отрепья
Густого дыма. А на Невке
Не то сирены, не то девки,
Но нет, сирены,- на заре,
Все в синеватом серебре,
Холодноватые, но звали
Прижаться к палевым губам
И неподвижным, как медали.
Обман с мечтами пополам!

Я шел сквозь рощу. Ночь легла
Вдоль по траве, как мел бела.
Торчком кусты над нею встали
В ножнах из разноцветной стали,
И тосковали соловьи
Верхом на веточке. Казалось,
Они испытывали жалость,
Как неспособные к любви.

А там, вдали, где желтый бакен
Подкарауливал шутих,
На корточках привстал Елагин,
Ополоснулся и затих:
Он в этот раз накрыл двоих.

Вертя винтом, бежал моторчик
С музыкой томной по бортам.
К нему навстречу, рожи скорчив,
Несутся лодки тут и там.
Он их толкнет - они бежать.
Бегут, бегут, потом опять
Идут, задорные, навстречу.

Он им кричит: "Я искалечу!"
Они уверены, что нет...

И всюду сумасшедший бред.
Листами сонными колышим,
Он льется в окна, липнет к крышам,
Вздывает дыбом волоса...
И ночь, подобно самозванке,
Открыв молочные глаза,
Качается в спиртовой банке
И просится на небеса.

Еще заря не встала над селом,
Еще лежат в саду десятки теней,
Еще блистает лунным серебром
Замерзший мир деревьев и растений.

Какая ранняя и звонкая зима!
Еще вчера был день прозрачно-синий,
Но за ночь ветер вдруг сошел с ума,
И выпал снег, и лег на листья иней.

И я смотрю, задумавшись, в окно.
Над крышами соседнего квартала,
Прозрачным пламенем своим окружено,
Восходит солнце медленно и вяло.

Седых берез волшебные ряды
Метут снега безжизненной куделью.
В кристалл холодный убраны сады,
Внезапно занесенные метелью.

Мой старый пес стоит, насторожась,
А снег уже блистает перламутром,
И все яснее чувствуется связь
Души моей с холодным этим утром.

Так на заре просторных зимних дней
Под сенью замерзающих растений
Нам предстают свободней и полней
Живые силы наших вдохновений

Шкляревский

Пусто. Холодно. Поздняя осень пришла.
В старых руслах вода ледяная светла
И душа, как долина, безлюдна.
Хорошо выгребать в два весёлых весла,
Но теперь плоскодонка моя тяжела,
и гонять её против течения трудно
...

Слуцкий

Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
Его иногда видали
Живого. На мавзолее.
Он был умнее, злее
Того, иного, другого,
По имени Иегова,
Которого он низринул
Извел, пережег на уголь,
А после из бездны вынул
И дал ему стол и угол.

Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Однажды я шел Арбатом.
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата,
В своих пальтишках мышиных
Рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брезжило утро.
Он глянул жестоко, мудро
Своим всевидящим оком,
Всепроницающим взглядом.

Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом.

Вознесенский

Тетку в шубке знал весь городок.
Она с детства нас пугала ссыльными.
Тетя крест носила и свисток,
чтобы вдруг ее не изнасиловали.

Годы шли. Ее не изнасиловали.
Не узнала, как свистит свисток!
И ее и шубы срок истек.
Продали каракуль черносливный,
где, как костка, продран локоток.

Неизвестный поэт-ополченец

Пусть предал друг, но Родина чиста.
Я так сказал: «Не нужно мне награды».
Для новой жизни с белого листа
Свою отдал, не чувствуя утраты.

Держаться вновь даровано живым
За тех, кто свят и, может, тех, кто проклят.
Для будущего подвиг сотворим,
Пусть даже если про него не вспомнят.

И в том бою на гребне вышины
Душа моя узнала власть и силу.
Она под крики «вы окружены»

Не отдала свою Саур-могилу.

ПЕРМСКИЕ ПОЭТЫ

Прежде чем писать о стихах, нужно, чтобы их сначала прочитали. К стихам может быть только послесловие.

Дима Долматов

Всё кончено. А нам и горя нет
Покуда все не кончены монеты,
Переплелись в моём венке сонетов
Узоры пальцев, тени, полусвет.

Рисунок снегопада на стекле,
Накиданный по памяти моментом,
Пройдет зима, но стоит ли об этом,
И вместе с ней растает мой сонет.

Под птичий тарарам в мою постель
Весна уронит черную капель,
И я проснусь, глаза не открывая.
Под крики птиц, под неба акварель,
Под крылья ангелов, снующих во дворе,
Под шум толпы перед воротами рая...

Валерий Абанькин

В жарком полудне
Цветущая липа.
В дупле ее спрятано
Детство мое

Ноябрьский день. Деревни голосят,
Собаки скалятся веселыми клыками,
Во всех дворах кололи поросят
Немецкими трофейными штыками.

Привязан пес, он терпеливо ждет,
Запахло кровью тяжело и сладко,
Над требухою сатанеет кот,
Вдруг обнажив тигриную повадку.

Мы мыли руки, предвкушая пир,
И улыбались, глядя, как у печи
Наш дед, макая хлеб в янтарный жир,
Жевал беззубым ртом свиную печень.

А вот и стол! Из своего угла
На нас глядел с жестянки бог распятый,
А нам, бессмертным, водка глотки жгла.
А где-то там кончался век двадцатый.

Хозяин стоит на пороге и снова долдонит,
Мол, вы осторожней, ребята – играет на нервах.
От кромки борта до воды половина ладони,
Рыбачий топляк, плоскодонка, вертлявая стерва.

Направо вода быстро катится в тень океана,
А слева намыта волною коса золотая,
Наш углый челнок подо мною качается пьяно,
А чайка-придурак хохочет, над нами летая.

Отлив невзначай обнажил браконьерские сети,
В них, тускло мерца. Шевелится снулая нерка,
Она дорога нам и держится в строгом запрете,
Но смылся инспектор в Охотск, и не светит проверка.

А там за косой нас залапает солью и йодом
Великий и Тихий, грохочущим валом накатит.
И хочется мне побрататься с тюленьим народом,
Охота в Охотское море, да духу не хватит.

Трава провинции... Нет зеленой травы.
Правам провинции давно грозит потрава.
Ее провинности - дела ее сорви-
Голов шальных, не обуздавших нрава.

Растет трава - дешевый провиант,
И туши травоядные жиреют,
А поцелуи грешных травиат
Отравлены и скоро перезреют.

Растет трава, пронизывая дым,
И зной звенит, высасывая соки,
Ложится низко стеблем молодым
И стелется, скрывая рост высокий.

Трава провинции, наверное, права,
Раскинув свои шелковые сети:
В них мертвые запутались слова,
И намертво вцепились наши дети.

В зеленом мареве хвощей,
Во мгле девонского болота
Произросла под хруст хрящей
Моя кровавая забота.

Мне б день и ночь листвою шуметь,
Но сквозь кровавые порезы
Менялась ласковая медь
В крови на ржавое железо.

И в теле ржавчина цвела,
Когда душа в себя впускала
И клетот горного орла,

И блеск звериного оскала.

В пылу подземного огня,
В горниле гордости и страха
Рождалась, кольцами звеня,
Моя железная рубаха.

Неуязвим для прежних бед,
Давно по всем статьям подкован,
Да видно, слишком часто вслед
Кричали мне ночные совы.

И как мои ладони жгли,
Горя стигматами во мраке,
Добра, надежды и любви
Опознавательные знаки.

Когда же зимняя пора
Идет по рощам белой кистью,
Как воют надо мной ветра,
Как страшен шорох мертвых листьев.

Часы

Ночь, одиночество, часов тахикардия...
Их нервный тик сведет меня с ума.
Моя душа с рожденья затвердила,
Что жизнь без времени пустынна и нема.
Мой маятник, колесики и оси
Собрал из хлама старый часовщик.
Поскольку я показываю осень,
В залог не взял меня пархатый ростовщик.
Но я иду и отмеряю время,
Как и другие, только не спеша.
Секунд, часов и дней святое бремя
Безропотно несет моя душа.
Лишь тик да так – и вся моя забота,
Но все-таки она еще в чести.
Проспит господь, не выйдет на работу,
Забыв меня на завтра завести.

Поезда зазвенят – и покатаются прочь,
Будто падая в гулкую пропасть.
Мне пропасть не дадут эта нежная ночь
И любви голубиная кротость.

От внезапного легкого взмаха крыла,
От безумного сполоха света
Полетела земля, безнадежно кругла,
Перелистывать зиму и лето.

Притяженья светил шар земной накренят,
И помчат – будто этого хватит.
Но морозные рельсы в ночи зазвенят,
И дыханье мое перехватит.

Виталий Кальпиди

Свистит, как кулик, раздробленный хрящ росы,
Вслед уходящим в пойму стадам, уходящим в пойму.
Бог, если это он, палит за рекой костры.
Я, если это я, костров никаких не помню.

Свистит, говорю, кулик на порубежье дня и ночи,
И сыр восток, рассвета убогий слепок,
А там, где горел костер, черная тень огня
Свертывает в бутон серую розу пепла.

Приходил снегопад по часам,
За окном разложив фурнитуру,
Узелки и перинки, и гири к весам,
И цветную бутылку политуры.

Только дел у него ни на грош, кроме как
Надевать прошлогоднюю робу,
Да сверлить золотистым балластом собак
Афродитову пену сугробов.

Нам в тени снегопада за рыхлым стеклом
Азиатские книги мусолить,
Когда на море прут костяным косяком
Невозможные эти муссоны.

...

И пацан Назарет из рогатки постреливал птиц.
И высокая талия липкого ливня на бедро водопада пришла опереться.
И вода сквозь себя, пред самой собой повалилася ниц,
И дымилось в груди Назарета огромное сердце.
Что касается птиц, то от камня им некуда деться.

А сквозь толщу белка продавить завихренное топливо взгляда
Суждено только нам, ожиревшим в глаголах сплошной худобе
А пацан Назарет – это только предлог, и не надо
Меня снова учить, как писать о зиме в декабре.

В декабре не зима, и сиреневый папоротник ветра
Морщит детские лбы не застуженных в оттепель луж.
Кстати, детские лбы собирает в гармошку коклюш,
А не ветер совсем. Вот бы принца клинок – и в гармошку о печень Лаэрта.

Мысли ночного полустанка

Но это только стук. И воздух конопат,
Продукцией дождя просверлен на две трети.
Тождественный плевку покоится посад
И черствый корж Перми на доли режет ветер.

Вам чудится – трава, поднявшись на дыбы,
Запаянной ноздрей вдыхает запах света,
Отторгнутого от ночной белиберды,
Присвоившей себе сосновый ропот неба.

И лужи, раскрутив с полсотни хулахуп
Внутри самих себя, якшались с перегномом,
И уверяю вас, не напасешься губ,
Чтоб пить их паралич в два пальца толщиной.

Потом, пуская вниз свой невесомый пресс,
Отсутствие луны купая в водостоке,
На плечи мотылька переложивши вес,
Ночь ест сама себя от запада к востоку.

У стрелочника – спесь глотателя огня,
Он недолюбливал рябой пунктир купейных,
Где офицерия работает коньяк
С партикулярной завистью к портвейну.

Внутри тяжелых слов, как смерть или вода,
Нет места для двоих, и стрелочник гугнивый
Стоял, и шел состав на юг, как шел всегда,
Кривляя поворот, как в искрах кот блудливый,

Шагал состав и пел погонщиков мулов
Грудную брань и был уже готов
День распилить на день и ночь и в ней остаться.

А стрелочник стоял. Безмерно шел состав,
И поперек него толпа шагала та, что
Шагала год назад, и стрелочник, пристав
К хвосту толпы, пошел с армейскою отмашкой,

С ним ковылял седой волной ковыль.
А позади, сойдя с ума от сна,
Шагала та, что пыль стирает в пыль.
Как жизнь мгновенна. И как смерть длинна.

Тебе и горя нет – а так и быть должно,
Когда я пружу по ярусам гортани
Всё то, что ты и днем зовешь словами,
А ночью и без слов достаточно темно.

Но если допустить, что я веретено,
А полотно пойдет в сорочку для Гертруды,
Сорочку брачную, когда осквернено
О, чадородие отравленной посудой,

И если допустить, что сей позорный глум,
Натасканный, как Клавдий на отбросах
Небытия, преобразится в гул
Земли матерой в накипи торосов,

Тогда зачем мне тарить под ребро
Берестяное крохоборство сердца,
Когда соратники по вздоху всё равно

Сочтут его за казусы наследства.

Постель остывшая. От сына только сон
Остался, да и тот утопленницей в реки
Перенесен и горьким молоком
Ей зашивает взор, прострачивая веки.

Но всё же есть смысл сказать о нас с тобой:
Не станем домогаться мы любви,
Когда от жизни только вздох «Живи!»
Останется под лысою луной

Разрушается дом.
Но пустивший бетонные корни фундамент
Цепко держит каркас, как ботву, этажа в полтора.
И прораб, лысый гунн, стенобитчику машет: «Пора!»
Мол, защитников нет, а на нет, как известно, суда нет.

Стала траурной рамкой с разбитыми стеклами рама,
Дом глодал полумесяц кривого удара кирки.
И кирпичный конспект по истории древнего Рима
Потолочных обоев вываливал языки.

Дом на снос, а жена облысевшего гунна на сносях.
Гунн заходит в бытовку и шумно садится за стол.
И шифруется мысль по пунктирам его переносья,
А Атилла велит принести и попробовать тол.

Зачехляется дом полусферой тряпичного взрыва,
Закругляется дом в полусфере и рушится дом.
И улыбка прораба – хронометр перерыва
Между домом и дымом, и тем, что лежало потом.

Лохматая плетка жидкого лыка,
Река на порогах многоязыка,
Как роза, расцвел на ней водоворот,
В нем скрылся купальщик со скоростью крика.

Тяжелые волосы кос Амфитриты
Остужен зноем и в пену зарыты,
Река пристяжных запустила в галоп,
И в синее крошево сбиты копыта.

Река развалилась на небо и воду,
Ни в том, ни в другом не отыщется броду,
Породу порогов уносит река
И точит щербатые камни по году.

Я сроду не трогал сердечник реки,
Я не сосчитал у нее позвонки,
Но знаю, что ствол у нее в середине –
Из криков утопших. Глаза велики

У страха, у неба – бельмо на глазу,
Грозу, что вчера свирестела, в тазу

Несет от реки продувная цыганка,
Разбитой стопой разрывая росу.

Я сыном цыганки у рыхлой реки
В коллоидной панике струй кровотока
Закончу познания мира. С востока
Жди паводка. С запада – снова беды.

Где-то ниггер в Гарлеме лежит. Здесь лежит барнаульская пашня.
Ниггер песню бубнит. Пашня петь не умеет - лежит
и кривой бороздой за версту улыбается страшно,
и натёк в борозду плодородия пенистый жир.

Он опять подтвердит постулаты районных ботаник, -
и студенты, как битых фазанов, потащат турнепс
за тугую ботву. После выпадет снег и растает,
я на поле приду по весне и скажу, наконец:

«Где-то ниггер в Гарлеме лежит, здесь лежит - барнаульская пашня».
Я на пашне стою, расступись, говорю, расступись,
сволоки меня к чёртовой матери к тем, бесшабашным,
что какое столетье спускаются вниз.

Девять дён я для них буду пахнуть весной сырокожей,
надышавшись землёй, стану тучен, тяжёл и ленив -
не подынешь меня, и своей погребальной рожей
я медузу Горгону сумею свободно пленить.

Ладно, будет болтать. Расступись, говорю, и на этом
я закончу рассказ и в грунтовые воды войду
и до центра земли доплыву ещё в этом году,
где закрою глаза, ибо слишком достаточно света.
Темнота не жена, но, возможно, подруга поэта.

Пермь, посмотри на меня! Кто из нас более зряч?
Каждый дождливый четверг мир обновляет себя.
Строится новый каркас, но архитектор – циркач,
Очень похоже на дождь, или начало дождя.

...

Так начиналась осень. Вы ведь
Заметили ее давно

...

Послесловие

Дима Долматов погиб, в его смерти замешан сынок одного ленинградского прокурора. Записали в несчастные случаи.

Палыч испортился еще до перестройки. Возможно, это результат того, что ему отказали в Москве. Обычно защищаются с 5-7 публикациями, включая тезисы, в Москве – и того меньше. Валера настроил диссертацию с 45-ю публикациями, исключая тезисы. В Москве заявили, что «ее не поняли». Палыч читал свои стихи назойливо, в любой кампании, о чем бы ни шел разговор. Читать он не умел, компания обычно терпела три-четыре стихотворения и либо расходилась, либо заставляла Палыча прекратить

издевательство. Но все обожали читать его вирши в стенгазете Естественно-научного института (при ПГУ) или слушать моё брэнчание на гитаре – некоторые его тексты я положил на музыку.

9/10 его стихов – пусты, рифмоплетство, но 1/10, а это вовсе немало, накатал он стихов прорву – настоящие стихи.

Векторы судеб Валеры Палыча Абанькина и Витьки Кальпиди направлены противоположно. Абанькина Пермь приняла сразу, а в толстых журналах он и не стремился печататься. Виталий долго пребывал в статусе поэта андеграунда, хотя его публиковал какой-то уральский журнал. Палыч – талантливый биохимик, множество технических изобретений, в университете – уважаемый человек. Своими руками создал лабораторию «Резонанс», студенты у него защищали дипломы. Кальпиди – ушел с филфака и неизвестно чем жил. Вероятно, постоянно снующие вокруг него музы не давали ему умереть с голоду. Ныне Виталий – успешный предприниматель, издатель, концертирует в Москве. Палыча же выгнал Шерстнев, бывший секретарь комитета комсомола университета. Партком ПГУ стал коммерческим центром, комитет ВЛКСМ – бюро по маркетингу, Шерстнев вступил в «Справедливую Россию». И захотел сделать из лаборатории «Резонанс» склад под сахар. Абанькин остался на улице, потому что перед этим они расстались с женой, и Палыч жил в лаборатории. Стал бомжом, жил у дочери, потом скитался по квартирам друзей. Короткая строчка в интернете: «В Перми задохнулся от дыма в заброшенном доме Валерий Абанькин».

Поначалу мне не нравились стихи обоих, как поначалу не понравились песни Окуджавы. Доезжало до меня долго, примерно с месяц, я начинал вспоминать, что они понаписали, постепенно выучивал наизусть, постепенно их стихи становились моими.

Ничего не хочу добавлять к каноническому жизнеописанию двух поэтов, это интересно не поэзии, а социальной истории. Виталий мне дорог тем, что во времена, когда меня травил власти и СМИ, он по телевидению выступил в мою защиту. Он многим рисковал.

Оба они – кораблики в океане культуры, энциклопедисты. Оба пользуются тезаурусом стихов поэтов и серебряного века, и Мандельштама, и Пастернака, и современных им братьев по цеху. У Кальпиди и Жданова даже есть почти одинаковые стихи, как на заданную тему. Палыч забирал круче: многие его белые стихи – как переводы зарубежного авангарда. У Кальпиди множество стихотворений заканчиваются слабо, некой моралью, что ли, которая порой вообще не связана с содержанием стиха – точно так же, как у поэтов серебряного века. Оба они, вместе с Еременко, Прасоловым, Соколовым, Парщиковым - знают друг друга, они – злые восьмидесятники. Все они противостояли Совпису, бездарной официальнойщине.

Художник Рокуэлл Кент говорил: «Я не знаю, что такое искусство. Я знаю только то, что вот это мне нравится, а вот это – нет». Мне не нравятся новые стихи Кальпиди. Те, что в настоящем сборнике – из советской эпохи. Не понимаю, как во время чумы, когда далеко не старое пермское Северное кладбище заняло первое место по площади в Европе, можно писать «Ресницы». В прежних стихах Кальпиди – молодость, азарт, свобода, дыхание, бесшабашность, полет. В нынешних – не трогающее душу пустое эстетство. Был талантливый филолог Володя Абашев, друг Кальпиди и Абанькина, а стал, прости господи, популизом, переименователем улиц. Считаю, катастрофа в форме перестройки перечеркнула и Абашева, и обоих поэтов. А мы... мы читаем их старые стихи и говорим спасибо.